

В. СОЛОВЬЕВ
КАПИТАН,
ГРЕНАДЕРСКОЙ
РОТЫ

Всеволод Сергеевич Соловьев

Капитан гренадерской роты

Всеволод Соловьев /1849–1903/, сын известного русско-го историка СМ. Соловьева и старший брат поэта и философа Владимира Соловьева, — автор ряда замечательных исторических романов, в которых описываются события XVII–XIX веков.

В романе «Капитан гренадерской роты» живо повествуется о дворцовых интригах времен бироновщины — малоизвестного периода русской истории. Апогеем повествования является арест правительницы Анны Леопольдовны капитаном гренадерской роты — дочерью Петра I Елизаветой.

Содержание

#1	0006
Предисловие	0006
Часть первая	0017
Часть вторая	0245

Соловьев Вс. С

Капитан гренадерской роты



Предисловие

Всесоюзное социологическое исследование «Книга в современном обществе», проведенное Институтом книги в 1988 году, еще раз подтвердило давно хорошо известный факт: историческая литература, особенно по истории Руси и России, вызывает огромный интерес у самого широкого круга читателей.

«Кто мы, откуда пришли, как жили раньше?» — вот те естественные вопросы, которые задает себе современный читатель, желающий разобраться в том, как получилось то, что получилось.

Долгие годы наподобие одиноких искорок вспыхивали публикации на тему «русской жизни». И уж совсем редко среди авторов этих публикаций встречались те, кто создавал свои произведения до Октябрьской революции. До недавнего времени читателю были доступны лишь некоторые исторические романы Г. П. Данилевского, М. Н. Загоскина, И. И. Лажечникова, «Князь Серебряный» А. К. Толстого (да и то, в большей степени «вприглядку»), пятнадцатитомная «История

России» С. М. Соловьева и восьмитомное «Собрание сочинений» В. О. Ключевского. Из богатейшего литературного наследия Д. Л. Мордовцева, полное собрание исторических романов, повестей и рассказов которого насчитывает около 60 томов, чести быть изданным после 1917 года на русском языке удостоен только роман «Знамения времени», а на украинском — двухтомник «Твори». Смехотворно малым трехтысячным тиражом издана семи-томная «История Российская» В. Н. Татищева, чуть больше (5000 экземпляров) тираж «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера. Этот печальный перечень можно было бы продолжить. Но это еще полбеда.

Давно забыты в издательствах такие крупные русские и украинские историки как Д. Н. Бантыш-Каменский, В. А. Бильбасов, А. Г. Брикнер, М. С. Грушевский, И. Е. Забелин. Вряд ли читающей публике Ф. В. Булгарин известен не только как реакционер и доносчик на писателей в Третье отделение, но и как автор исторических статей, романов и повестей. И уж совсем загадочны имена Н. Э. Гейнце и Е. А. Салиаса, авторов целого ряда нашу-

мевших в свое время исторических романов. И это уже беда!

И была бы та беда еще большею, еще горшею, но, так и хочется сказать: «Бог дал!», сдвинулось дело с места. Нельзя сказать, что мощный, но все возрастающий поток исторической литературы, той, до которой так жажден читатель, стал выходить из недр издательств. Переиздание большими (и в то же время, увы, такими все еще малыми) тиражами фундаментальных трудов С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, издание (о, чудо из чудес!) «Истории» Н. М. Карамзина, «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Н. И. Костомарова, целого ряда исторических работ Казимира Валишевского (последние, справедливости ради следует заметить, несколько дороговаты), «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна, публикация исторических романов и пьес Д. С. Мережковского, «Старой Москвы» М. И. Пыляева — что это, как не прорыв в направлении удовлетворения «голода по духовной пище»?!

И вот еще одно имя воскресает из мрака забвения: Всеволод Сергеевич Соловьев.

1 (13) января 1849 года в Москве в семье профессора истории С. М. Соловьева родился сын Всеволод. Жена Сергея Михайловича, урожденная Романова, была представительницей известной украинской семьи, потомком философа Г. С. Сковороды.

Ум и даровитость матери Всеволода в немалой степени послужили тому, что дом Соловьевых был настоящим литературным салоном. Частыми гостями были историки Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, собиратель русских народных сказок А. Н. Афанасьев, братья Аксаковы, А. Ф. Писемский, Евгения Тур — мать писателя Салиаса.

Воспитание в таком окружении послужило быстрому развитию умственных способностей Всеволода и тяге его к творчеству. Уже шестнадцати лет он пробует свои силы как поэт, а в 1870 году во «Всемирной Иллюстрации» появляется первый рассказ Вс. Соловьева.

Однако писательская слава приходит к Вс. Соловьеву лишь после появления в «Ниве» в 1876 году его первого исторического романа «Княжна Острожская». Почувствовав после

этого свое настоящее призвание, он решает посвятить себя всецело историческому роману. Вслед за «Княжной Острожской», увлекательном описании эпохи борьбы православия с иезуитами, в следующем, 1877, году выходит в свет роман — хроника в трех частях «Юный Император», в котором красиво изложена малоизвестная история кратковременного царствования Петра II и ссылки князя А. Д. Меншикова. В том же году как живой отклик на балканские события появилась повесть «Русские крестоносцы». Верность понимания и описания событий той или иной эпохи, ярко проявившаяся в этой повести, характерны и для опубликованных в 1878–1879 годах романах «Капитан гренадерской роты», «Царь-девица», «Касимовская невеста».

В «Капитане гренадерской роты» живо обрисована бироновщина, кошмарный и также малоизвестный период русской истории, когда ничтожный служитель крохотного двора Курляндской герцогини Анны Иоанновны, не признаваемый соотечественниками дворянином, неожиданно для всех стал правителем Российской Империи. Искусно вплетены в

канву повествования фигуры Анны Леопольдовны и Миниха. Блестящ финал романа, когда правительницу Анну Леопольдовну арестовывает капитан гренадерской роты, она же дочь Петра I, Елизавета.

Роман — хроника XVII века «Царь-девица» повествует о борьбе за престол цесаревны Софьи с братом Петром. Здесь и красочно описанные стрелецкие бунты, и тонкая нить дворцовых интриг и другие картины того смутного времени. Отточенно выведен образ Василия Голицына, помощника и верного друга Софьи, образованного и талантливого человека. Но особенно удался образ самой Софьи, сильной, энергичной, коварной правительницы, решавшей дела как вне, так и внутри государства, продолжательницы дела отца в борьбе с расколом.

В «Касимовской невесте» встречаемся с «тишайшим царем» Алексеем Михайловичем. Сюжет крайне романтичен и построен на истории сватовства царя к дочери касимовского дворянина Всеволодского, Фиме. Фоном повествования служит быт того времени, быт старой Москвы, постоянные столкнове-

ния полного чванства боярства с обнаглевшими воеводами, требовавшими «большого приноса». Апогеем романа несомненно является встреча Фимы с царем, переданная рукой тонкого психолога, каким являлся Вс. Соловьев.

И все же главным произведением исторического романиста, прославившим его имя окончательно, стала монументальная историческая эпопея, объединившая пять романов: «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнанник» и «Последние Горбатовы». «Хроника четырех поколений» — таковое сквозное название этой эпопеи, охватывающей собою период с конца XVIII по семидесятые годы XIX века. Не имея возможности подробно осветить ход событий, описанных в этих романах, перечислим хотя бы имена их героев: Фелица — Екатерина, императрица России, «светлейший» граф Орлов Григорий, князь Потемкин, Лев Нарышкин, граф Безбородко, император Павел I, поэт Г. Р. Державин, король Швеции Густав, другие, менее известные исторические лица. Уже в «Старом доме» помимо восхитительно сплетенной романтической интриги появляются мистики,

тайное общество, знаменитый архимандрит Фотий, пленявший красноречием Александра II и доведивший его до слез. По мере приближения к завершению эпопеи автор выводит на первый план не исторические лица, а простых смертных, детей своего века, выразителей его нравов. Акценты переносятся на мучительные вопросы жизни, размышления над ее внутренней загадкой. «Последние Горбатовы» — это и поэма любви, и прелюдия к мистическим повествованиям: романам «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер».

К концу восьмидесятых годов не без влияния своего младшего брата, Владимира Сергеевича Соловьева, известнейшего русского философа-мистика, Всеволод Сергеевич все больше склоняется к мысли, как он сам говорил, «исследовать ход и развитие мистицизма в западноевропейском и русском обществе... и написать большой роман, где изображались бы результаты этого мистицизма, особенно характерные в конце XVIII и начале XIX века». И вот в журнале «Север», основанном Вс. Соловьевым совместно с П. П. Гнедичем, автором изданной в 1908 году А. Ф. Марксом

трехтомной «Истории искусств», появляется сначала роман «Волхвы» (1888), а на следующий год «Великий Розенкрейцер». Огромная работа по собиранию фактического материала по оккультизму и кабалистике в Национальной библиотеке в Париже, изучение мистиков: Парацельса, Эккартсгаузена, Фламелья, Триссмегиста — открывали ему новые горизонты в изучаемой области. Именно благодаря этому выведенный в романе «Волхвы» образ графа Феникса, он же Калиостро, так разительно отличается от того, что нарисовал А. Дюма и его многочисленные подражатели. Чародей Калиостро представлен как носитель завета Христова. Поэтому эпиграфом к «Волхвам» служит изречение апостола Павла в первом послании Коринфянам: «И еще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь» (гл. XIII, 2).

Поэтому так хлестко написан большой очерк «Современная жрица Изиды. Мое знакомство с Е. П. Блаватской и „теософическим обществом“», в котором Соловьев громит своего прежнего кумира. Являясь во многом ав-

тобиографическим, очерк иллюстрирует, как разборчив был Соловьев при встречах с мистиками, как он ненавидел шарлатанство.

Несмотря на краткость вступительной статьи, нельзя не упомянуть исторические повести «Жених царевны» и «Царское посольство», роман «Злые вихри», в котором автор полемизирует с толстовцами, и оставшийся недописанным роман «Цветы бездны», изображающий одно из новых веяний конца прошлого века — ницшеанство.

20 октября (2 ноября) 1903 года Соловьева не стало.

«...Угас истинный поэт, художник слова, певец родной старины. Пройдут года, явятся новые бояны нашего прошлого, но внимательный и вдумчивый читатель, познакомясь с произведениями Вс. Соловьева, оценит их по достоинству, поймет, какая живая душа, благородная и чистая отразилась в них, какой беззаветной, властной любовью согреты они...» — такими словами заканчивается очерк жизни и творчества писателя, помещенный в сойкикинском издании полного собрания сочинений Соловьева. Предпринимая

попытку переиздать это собрание, вряд ли стоит переиначивать процитированную концовку.

Владимир Близнюк

Часть первая

I

По берегам речек Мьи и Фонтанной расположены широкие аллеи густо разросшего Летнего сада. Этот сад разбит при Петре в парке, прежде принадлежавшем майору шведской службы Конау.

Тут, окруженный цветниками, возвышается дворец Летний, во времена Петра — небольшой деревянный домик, но теперь превратившийся в настоящий дворец, роскошно отделанный и назначенный, при императрице Анне, для помещения принцессы Анны Леопольдовны. Принцесса жила в нем не долго и в последнее время здесь поместилась сама императрица, вместе с семейством герцога Курляндского. Здесь она и скончалась, и всего несколько дней, как вынесли ее тело. Старые вековые деревья сада, еще недавно зеленые, быстро осыпались от ветров и непогоды, и стоят, по временам стуча холодными голыми сучьями. Ни одного цветка не осталось в клумбах. Не то дым, не то туман, да мелкий частый дождик закутывают

все своей дымкой. У главного дворцового подъезда расположен караул Преображенского полка. Солдаты стоят навытяжку, как истуканы, не смеют даже носа почесать, как ни щекочет лицо дождик. И солдаты и офицеры знают, что здесь, в Летнем дворце, неведомо откуда следят за ними чьи-то глаза зоркие и что им надо держать ухо востро, не то, как раз, какая ни на есть беда стрясется. Знают они также, что теперь, вот в эти последние дни, с самой смерти императрицы, особенно зорко следят за ними глаза эти невидимые, и что государь регент с каждым днем все более и более свирепеет.

Немало дум да забот неотложных теперь у преображенцев, но на карауле они молчат, только иной раз переглянутся друг с другом выразительно: «мол, постой, погоди, теперь ни гугу, а вот ужо потолкуем!»

Ко дворцу то и дело подъезжают кареты сановников. На всех лицах выражается, по большей части, плохо скрываемая робость.

В первых приемных комнатах все вопросительно посматривают друг на друга, всем неловко. У каждого в голове одна мысль: «вот

каких дел мы понаделали, сотворили его регентом, а теперь оказывается ух как плохо! Что ни день, труднее с ним справляться». Но никто не выражает этих мыслей друг другу, все больше молчат, дожидаются выхода герцога.

А тот и не думает выходить.

В обширной комнате, устланной мягкими, пушистыми коврами, заставленной всевозможными роскошными безделушками, перед огромным письменным столом сидит регент Российской Империи. Перед ним на другом кресле — кабинет-министр, князь Черкасский.

Когда-то красивое и тонкое, но теперь уже обрюзгшее, покрытое мелкими морщинами лицо Бирона нервно подергивается, его ноздри раздуваются, он судорожно сжимает кулаки и, очевидно, едва себя сдерживает.

Несколько минут продолжается тяжелое молчание: наконец, регент подымается с кресла и останавливается перед Черкасским.

— Что же такое? — говорит он сначала резким шепотом, но постепенно возвышая голос. — Что же это такое? Ты думаешь, ты пер-

вый приходишь ко мне говорить о таком скверном деле? Уж много слышал! Вот тут, — он указывает на стол, где разложена кипа бумаг, — вот тут не одно признание. Бестужев был... его племянник Камынин тоже раскрыл замысел гвардейцев...

— Слышал я об этом, знаю, — проговорил Черкасский.

— А! Знаешь! — с пеной у рта повторил Бирон и взглянул на Черкасского так, как будто тот был виноват в чем-нибудь. — Знаешь! То-то и есть, что раньше нужно было все это знать, мешкать нечего!.. Нельзя так вот сидеть здесь, сложа руки. Пойди, князь, распоряжайся схватить этих негодяев, этого Пустошкина, Ханыкова и Яковлева и всех к делу причастных, а с Головкиным я сам уже буду потом разделываться, не уйдет он у меня из рук!

И Бирон в ярости так стиснул себе руки, что они даже хрустнули.

Черкасский поднялся.

— Да если что-нибудь, пусть сейчас же мне доносят, не опаздывают...

— Кажется, и так все быстро делается, —

проговорил Черкасский.

— То-то быстро... да не на кого положить-ся!

В злобе и тревоге регент сам уже не знал, что говорит и все больше и больше картавил русские слова, так что Черкасский едва удержал невольную улыбку и спешно вышел из кабинета.

Бирон остался один. Он долго ходил по мягким коврам или, вернее, метался по комнате, отбрасывая руками и ногами все попадавшиеся ему предметы и не замечая этого. Глаза его наливались кровью, рот кривился.

— Так вот как, вот как! — думал он. — С первого же дня начал милостями, а они и этим недовольны. Они погибель мою замышляют, вот как!

Он совсем терялся в своих мыслях, в своей тревоге и бешенстве. Он не умел владеть собою, не умел быть хладнокровным, благоразумным, когда нужно. Голова его отказывалась работать именно тогда, когда настоятельно требовалась эта работа. К тому же, все нахлынувшие в последние дни доносы были для него совершенною неожиданностью. Он

думал, что пришло время исполнения его заветных мечтаний. Ему казалось, что теперь так легко это исполнение, а, между тем, вот являются препятствия... Надо перехватить этих людей, запытать их, убить, уничтожить...

«Но кто знает, что будет дальше? Много кругом шпионов, но разве можно на людешек здешних полагаться? Того и жди: найдется злоумышленник, проберется тайно, убьет, пожалуй...»

На мгновение панический страх даже охватил Бирона; он побледнел и вздрогнул. И в эту минуту мелькнула у него мысль, что, может быть, лучше было бы не заноситься так высоко, а приготовить себе мирное, спокойное существование. Но мысль эта только мелькнула и сейчас же исчезла, потому что он ушел слишком далеко от возможности подобных мыслей, давно успел он позабыть свою прежнюю жизнь.

Он не имел уже ничего общего с курляндцем Эрнстом Иоганном Бироном, мелким служителем при маленьком дворе герцогини Анны Ивановны. Он забыл, что еще не очень

давно курляндцы отказывались признать его дворянином; теперь он считал себя самым законным Курляндским герцогом и правителем Российской Империи. Жизнь его удалась невероятно. Он никогда не работал над собою; природа дала ему только красивую наружность, и одна эта наружность привела его к тому положению, в котором он, наконец, очутился.

Давно, давно, в первые годы молодости, по приезде в Митаву молодой вдовы Анны Иоанновны, как-то случайно его глаза встретились с ее глазами. Ни о чем он тогда не думал, ничего не замышлял и даже не заметил, что герцогиня внимательно на него смотрит. Однако, скоро этого не замечать стало невозможно, герцогиня с каждым днем смотрела все внимательнее и, в свою очередь, внимательнее и смелее стал глядеть на нее Бирон. Прошло несколько месяцев — и из мелкого служителя, умевшего возиться только с лошадьми он превратился в самого близкого друга герцогини Курляндской.

Скучавшая, запуганная, многими теснимая Анна, чувствовавшая себя одинокою и

беззащитною, привязалась к нему всей душой, полюбила его на всю жизнь, бесповоротно, совсем отдалась ему в руки. И он, в свою очередь, к ней привязался. Может быть, искренность этой привязанности во всю жизнь была единственным добрым его чувством.

С тех пор он не разлучался с герцогиней, а она думала его мыслями и говорила его словами. Вместе приезжали они в Москву на коронацию маленького императора Петра II, вместе плакались на то, что никто не обращает на них внимания. Бирон из кожи лез, обдывая маленькие делишки герцогини, заручаясь добрым расположением нужных людей, обещая найти в Курляндии для императора и фаворита его, Ивана Долгорукого, хороших собачек. О, как он бился тогда, вернувшись в Митаву, разыскивая этих собак. Всю Курляндию изъездил, но собаки оказались не нужны.

Собаки им не помогли — помогла судьба нежданная, негаданная, которая через годы возвела герцогиню Анну на престол российский. И твердо оперся о престол этот Эрнст Иоганн Бирон. Теперь ему приходилось рас-

поряжаться и властвовать не в маленьком митавском дворе, теперь в его руках, оказалась вся огромная и совсем неизвестная, даже непонятная для него, Россия. Но такая громадная задача его нисколько не смутила, он даже и не постарался приготовиться к своей новой роли. Он приехал из Курляндии со старою и беспричинною ненавистью ко всем русским и ко всему русскому, не хотел по-русски учиться, знал только один немецкий язык, да и то лишь свое родное курляндское наречие; не имел никакого понятия о политике.

Он по-прежнему умел только к лицу принарядиться, ловко вскочить на коня, сыграть партию в карты. С такою-то подготовкой, с такими талантами и качествами начал он вмешиваться в правление Россией, начал все делать по своему и, может быть, ни разу ни над чем не задумался. Он знал, что кругом многие его ненавидят, что народ смотрит на него как на злодея, но ему до этого не было никакого дела. Он знал, например, что австрийский посол, граф Остен, выразился про него, что он говорит о лошадях и с лошадьми как человек, а с людьми как лошадь; и он смеялся над

этим. Он знал, что немало людей из-за него обливаются слезами и кровью — и смеялся. Ему ничего не стоило подписать кому угодно смертный приговор, и он его подписывал рукою беззащитной от него Анны.

Так как же мог он теперь остановиться на какой-нибудь благоразумной мысли? Теперь он потерял своего единственного друга, добрую императрицу. Он искренно всплакнул над ее гробом и, конечно, рассуждал так, что нужно же чем-нибудь вознаградить себя за эту потерю. Он нашел, что такой наградой может быть только бесконтрольное управление Российской Империей... А тут: какие-то солдаты, какие-то офицеры, народ какой-то, которого он знать не знает и знать не хочет, селятся вырвать у него эту награду, это наследие, оставшееся от старого друга!..

«О негодяи, негодяи!» — бешено шепчет он, переставая метаться по комнате, присаживаясь к столу и разбирая лежащие на нем бумаги. — «Всех запытаю, всех уничтожу; — другие не посмеют!»

Он снова начинает перечитывать доносы. Вот подробный донос Камынина, вот тут и

другой; вот еще один донос, где говорится о том, что в войсках есть движение в пользу принцессы Елизаветы.

Бирон медленно, строчка за строчкой, очевидно, плохо разбирая, прочел эту бумагу и отложил ее в сторону. На его лице не обнаружилось новой досады; к этому доносу почему-то он отнесся хладнокровно.

Вот еще одна бумага: это что такое? «А!» — снова яркая краска вспыхнула на лице регента и он быстро и громкого зазвонил в стоявший на столе колокольчик.

Через несколько секунд почти неслышно приотворилась маленькая замаскированная дверца и из нее выглянула большая, заплывшая жиром голова любимого камердинера Бирона.

— Что, того адъютанта стерегут? — спросил регент по-немецки.

— Стерегут, молчит! — ответил камердинер.

— А в приемных много лиц?

— Много, ваша светлость...

— Ну и пускай дожидаются; в кабинет никого не пускать — я ухожу.

Камердинер исчез, а Бирон еще минуту простоял посредине комнаты.

«Что офицеры и солдаты! — бешено думал он. — Ничего бы сами собою не задумали, все это оттуда, от брауншвейгских происходит. Ну, да от меня не увернетесь!»

Он вышел из кабинета маленькой дверцей, пошел по коридорам, спустился в нижний этаж и вошел, наконец, в довольно темную просторную комнату под сводами. Двери в эту комнату охранялись четырьмя вооруженными людьми.

У сыроватой стены, на деревянной лавке сидел высокого роста и плотного сложения довольно еще молодой человек, адъютант принца брауншвейгского — Граматин. Он сидел здесь с утра.

Его арестовали, как потом говорил Бирон, по одному «сумнению», для того, чтобы через него выведать обо всем, творящемся у принца.

Граматина подняли рано утром с постели, едва дали время ему одеться, в наглухо закрытой карете привезли в Летний дворец и провели в эту комнату. Сейчас пришел туда сам

Бирон и начал кричать на него. В первые минуты Граматин не особенно смутился, показал только на секретаря Семенова, адъютанта князя Путята и нескольких других семеновских офицеров, что они к присяге Бирону не склонны, а желают держать сторону принца Брауншвейгского; про принца же объявил, что тот запретил допускать к себе Семенова.

Услышав это, Бирон стал кричать еще пуще.

— Нет, ты от меня не утаишь! — наступал он на Граматина. — Теперь не хочешь сказать всю правду, так после скажешь в пытке! Или ты думаешь, что твой принц отстоит тебя? Вот увидишь! Не принцу твоему со мною тягаться. Сиди здесь, да одумайся лучше...

И регент ушел от него, а вот теперь опять не стерпел, вернулся, так ему хотелось поскорей узнать о замыслах принца Баруншвейгского.

Сразу, входя в комнату, Бирон заметил необыкновенную перемену, происшедшую за эти несколько часов в Граматине. Рослый и плотный, мужественного вида адъютант, несмотря на свою внешность, не был героем.

Сидя взаперти в этой мрачной комнате, совсем нетопленной, да вдобавок еще и на тощий желудок (он со вчерашнего дня ничего не ел), бедный Граматин сообразил, что дело его плохо, — принц Брауншвейгский ему не защита: сам дрожит перед Бироном. Захочет регент, так все теперь сделает; пожалуй, этак и, действительно, попытать станут, а потом и голову отрубят. Невеселые картины, одна за другой, все ярче рисовались в воображении Граматина, и к тому времени, когда вошел к нему вторично Бирон, он уж был окончательно запуган и готов на что угодно.

— Ну, что ж, одумался? — начал регент, свирепо взглянув на несчастного адъютанта.

Тот встал с лавки, вытянулся во весь рост и, заикаясь, обливаясь холодным потом и не смея взглянуть на своего мучителя, охрипшим от страха голосом прошептал:

— Одумался.

— Так рассказывай все подробно, что знаешь...

Но исполнить это было чрезвычайно трудно. Граматин разинул рот, что-то такое начал и заикнулся.

— Да говори же, говори так, чтобы я слышал и понимал! — нетерпеливо повторял Бирон. — Говори, ведь, я тебя не ем, я требую только знать правду.

Граматин собрал все свои силы, откашлялся и начал:

— Во... во... во второе же сего октября же, когда все милостивейшая государыня тяжело заболела, то доносилось его светлости, принцу...

— Без светлостей! — вдруг почему-то окончательно выходя из себя, закричал регент. — К делу!

Этот окрик совсем смутил Граматина; у него дрожали руки и ноги. Он начал что-то такое шептать неясное, в котором слышалось только: «я говорю, он мне говорит».

Бирон терял всякое терпение. — Ничего не понимаю! — кричал он. — Говори яснее, отставляй слово от слова!

Граматин снова откашлянулся и начал, действительно, отставляя слово от слова!

— И тогда же пришел я в покои ее высочества, государыни, принцессы Анны, где увидел секретаря Семенова и он мне сказал: «что-

де, братец, ведь-де наши господа деньги-то приняли, да и замолчали». А я на это ему сказал, что как соизволят, нам что за дело. Что еще попадешь напрасно в беду. И он, Семенов, мне сказал, инде перестань говорить, и я ему сказал, что перестал! Да у нас уж и запрещено. И он мне сказал...

— Черт, — завопил Бирон, накидываясь с кулаками на Граматина, — молчи!.. «Он мне сказал, я ему сказал!..» Сейчас тебе принесут бумагу и чернила, пиши все, а я тебя не понимаю. Да смотри, все напиши подробно, не то берегись у меня, запытаю; вижу, ведь, тебя, ничего не скроешь!

Он вышел из комнаты, прошел к себе в кабинет, распорядился, чтобы Граматину дали бумаги и заставили его писать подробную повинную.

Через полчаса герцог вышел в приемную, сухо раскланялся с давно дожидавшимися его сановниками и, почти не сказал никому ни слова, велел подавать себе карету.

— В Зимний дворец! — раздражительно крикнул он, когда лакеи суетились вокруг кареты и захлопывали дверцы.

Молодая принцесса Анна Леопольдовна только что вышла из спальни своего сына, трехнедельного императора. Она попробовала было с ним возиться, но он скоро надоел ей и вот она оставила его на попечение нескольких женщин, приставленных к нему, а сама спешила в свои апартаменты, где, как она знала, ее поджидает неизменный друг, без которого она не могла, кажется, прожить минуты, фрейлина ее, Юлиана Менгден.

Анна Леопольдовна довольно рано проснулась в это утро, но до сих пор еще и не думала одеваться. Волосы ее были распущены, голова повязана белым платком, на плечи накинут утренний капот. Это была ее любимая одежда, в которой она, если только было возможно, оставалась даже иной раз в день.

— Юля, Юля! Где ты? — кричала принцесса, проходя по комнатам и не видя своего друга.

— Здесь, иду сейчас! — откуда-то издали, наконец, раздался звонкий, свежий голос, и через несколько мгновений перед Анной Леопольдовной появилась запыхавшаяся моло-

дая девушка.

— Где ты пропадаешь, Юля? Я ждала тебя, думала, ты зайдешь туда, в спальню.

Она нежно обняла и поцеловала свою подругу.

Большая разница замечалась между ними. Анна Леопольдовна была невысока, нежного сложения, с чертами не правильными, но приятными и не то утомленными, не то просто сонливыми глазами. На ее бледном и только изредка и на мгновение лишь вспыхивавшем молодом лице постоянно лежало какое-то наивное, почти детское выражение.

Фрейлина Менгден была высокого роста, статная и крепкая девушка, с быстрыми огненными глазами, маленьким вздернутым носом и резко очерченным характерным ртом. На ее щеках постоянно горел густой, здоровый румянец. Она говорила громким, немного резким, но не лишенным приятности голосом. В каждом ее движении выглядывала смелость, решительность и энергия.

— Какая ты хорошенькая, Юля! — говорила Анна Леопольдовна, продолжая обнимать молодую девушку и с любовью в нее взгляды-

ваясь. — Как ты хорошо причесалась сегодня, только для кого же? Не такое теперь время: никого не видишь, только один супруг мой, — она презрительно подчеркнула это слово, — на глаза попадает, для него не стоит рядиться. Видишь, я как! С утра вот не одеваюсь...

— Ах, это нехорошо, Анна! — ответила Менгден. — Пойдем, дай я тебя одену.

Она говорила принцессе «ты» и даже при посторонних с трудом преодолевала эту привычку.

— Одеваться? Ни за что! — замахала на нее руками принцесса. — С какой стати я буду одеваться? Так гораздо лучше, удобнее. Разве ты не знаешь, что для меня наказание быть одетой? Тут жмет, там жмет, держись прямо, сиди точно аршин проглотила... Нет, спасибо!.. А что, скажи мне, пожалуйста, написала ты то письмо?

Бледное лицо принцессы при этом вопросе покрылось румянцем.

— Написала, вот, прочти...

Юлиана Менгден осторожно вынула из кармана сложенный лист бумаги и подала

его принцессе.

Та с живостью, так мало ей свойственною, схватила эту бумагу, развернула и принялась жадно читать.

По мере того, как она читала, румянец все больше и больше разгорался на щеках ее. Наконец, она окончила чтение, подняла глаза на Юлиану и проговорила:

— Хорошо, хорошо, очень хорошо, это самое я и хотела сказать ему!

— Все же бы лучше сама написала, — с маленькой усмешкой и пожимая плечами, заметила Менгден. — Вот уж я бы ни за что никому не поручила писать такие письма!

— Да, ведь, ты все равно знаешь все мои мысли, — оправдывалась принцесса, — так это одно, что я пишу сама, что ты. А ты знаешь, что для меня придумывать письмо, это такое наказание! Гораздо лучше и скорее, вот, я возьму и перепишу его. Посмотри, нет ли кого тут и дай мне самой лучшей бумаги и чернильницу. Сейчас вот сяду и перепишу, а потом ты уж, пожалуйста, поторопись и распорядись хорошенько, чтобы скорее оно было отправлено в Саксонию, да так, чтобы никто

и не узнал об этом.

Юлиана опять пожала плечами, опять усмехнулась.

— Нет, видно, возьму твое письмо, да и понесу показывать его принцу!

Она пошла за бумагой и чернильницей.

Анна Леопольдовна снова развернула написанную другом черновую и принялась ее перечитывать. И если б кто посмотрел на нее в эти минуты, то очень бы изумился: так изменилось лицо ее, так оно оживилось, так похорошело.

Но для того, чтобы понять оживление принцессы, нужно заглянуть в ее прошлое.

Анна Мекленбургская была любимой племянницей императрицы, которая с тринадцатилетнего возраста взяла ее к себе во дворец и удочерила, как тогда выражались.

К маленькой Анне была приставлена гувернантка, госпожа Адеркас, сумевшая обворожить императрицу и почти всех придворных своими манерами, прекрасной наружностью, любезностью и вообще всякими приятными качествами. Со своей воспитанницей госпожа Адеркас тоже очень сдружилась. Она

не слишком мучила ее занятиями, делала ей мало замечаний, сквозь пальцы смотрела на ее лень и некоторые причуды.

Скоро, благодаря стараниям венского двора и уговариваниям Левенвольда, подкупленного Карлом VI, был приглашен в Россию принц Антон Брауншвейгский. Он переехал в Петербург и оказался девятнадцатилетним юношей, худеньким, маленьким, неловким и застенчивым. Цель его приезда была известна всем, в том числе и Анне Леопольдовне: он переселился в Россию для того, чтобы сделаться супругом молодой принцессы. Она, даже несмотря на свой возраст, очень заинтересовалась таким открытием и с нетерпением ждала принца. Но увидав его, сделала гримаску: он ей очень не понравился. Не понравился он также императрице, но Анна Иоанновна все же решила, что дело уже сделано, не гнать же его обратно. Она говорила приближенным: «принц мне нравится так же мало, как и принцесса, но высокие особы не всегда соединяются по склонности. Впрочем, как мне кажется, он человек миролюбивый и уступчивый, и я, во всяком случае, не удалю

его от двора, не хочу обижать австрийского императора».

И вот, юному брауншвейгскому принцу было оказано всякое внимание. Его сделали подполковником кирасирского полка, который и назвали, в его честь, беве́рнским. Он остался жить при русском дворе и ожидать совершеннолетия своей невесты.

Все силы употреблял он для того, чтобы с ней сблизиться, чтобы ей понравиться, но не сумел ничего достигнуть. Она выказывала ему явное нерасположение, холодность, даже часто в глаза смеялась над ним. — «Ну что ж, еще девочка совсем, а вот скоро вырастет, тогда переменится», — думал бедный принц.

Но время шло. Анна Леопольдовна из девочки превратилась в девушку, и не изменилась. Напротив, ее нерасположение к принцу, ее насмешки над ним, стали доходить до самых неприятных размеров. Наконец, она начала просто раздражаться и совсем уже не сдерживала себя в его присутствии. И все это делала она особенно явно с тех пор, как при дворе появился молодой, красивый саксонский посланник, граф Линар.

Этот молодой человек сразу произвел неотразимое впечатление на Анну Леопольдовну и скоро во дворце разыгралась история. Оказалось, что молоденькая принцесса призналась в своей страсти госпоже Адеркас и та, вместо того, чтобы сделать ей строгое внушение и донести обо всем императрице, сразу вошла в ее интересы и стала покровительствовать ее страсти. Она устроила два-три, хотя и невинных, но тем не менее опасных свидания между Линаром и принцессой. Все это подсмотрели любопытные люди и донесли государыне.

Госпожу Адеркас, вместе с ее горбатенькой, некрасивой, но умненькой дочерью, бывшей подругой Анны Леопольдовны, выслали из Петербурга; а вслед за ними и Линар, по просьбе императрицы, был отозван своим двором.

Бедная Анна Леопольдовна, после неоднократных и грозных разговоров с императрицей, после удаления Адеркас и Линара, почувствовала себя совершенно несчастной, долго мучилась, плакала, не выходила из своих комнат; а когда, наконец, вышла, то оказа-

лась уже совсем непримиримым врагом принца Антона Брауншвейгского.

Бирон, конечно, все это знал в подробности и решился воспользоваться ненавистью принцессы к жениху для того, чтобы женить на ней своего старшего сына Петра.

Он ничего об этом не сказал императрице и начал с того, что под предлогом военного образования принца Антона, отправил его воевать с турками в армию Миниха.

Долго воевал принц, почти целых два года, несколько раз отличался, — хотя Миних потом и уверял, что никак не мог узнать, что такое принц Антон: рыба или мясо. Наконец, вернулся в Петербург, получил за храбрость чин генерал-майора, ордена Александра Невского и Андрея Первозванного.

В его отсутствие не произошло никаких перемен. Бирон ничего не добился. Анна Леопольдовна, по-прежнему, была невестой, и даже встретила нового андреевского кавалера несколько любезнее. Он несказанно этому обрадовался и возобновил свои ухаживания. Тогда Бирон решился действовать прямо: объяснился с императрицей и предложил своего

сына Петра в женихи принцессе.

Этот план был вовсе не по вкусу государыне, и она оказалась поставленной в самое тяжелое положение. Она совершенно отвыкла отказывать, в чем-либо своему любимцу, — он давно уж делал из нее все, что хотел, но, несмотря на свое ослепление, на свою беззаветную любовь к Бирону, соединенную даже с каким-то страхом, Анна Ивановна все же, в известные минуты, находила в себе силу воли. Она не отказала Бирону, сказала только, что поговорит с племянницей и пускай та сама решит, неволить ее она не станет.

И точно, она предложила Анне Леопольдовне сделать окончательный выбор между сыном герцога Курляндского и принцем Антоном.

К этому времени молодая принцесса уж давно успокоилась, примирилась со своей разлукой с Линаром. Она не любила принца Антона, не находила в нем ровно ничего для себя привлекательного, но дело в том, что Бирона и все его семейство она не только что не любила, но даже ненавидела. Перед ней было два зла, конечно, надо было выбрать мень-

шее — и она выбрала принца Антона. Вообще все это время она находилась в каком-то странном состоянии, дремота одолевала ее, мысли в голове совсем не работали, и ко всем она была равнодушна, пуще всего не любила общества. Когда по необходимости показывалась, то терялась, скучала и, при первой возможности, уходила в свои комнаты и шушукалась там с другом своим, Юлианой Менгден.

Равнодушно приняла она предложение принца Антона, равнодушно принимала поздравления окружавших, а когда ее свадьба была совершена с большим великолепием и торжественностью, так же равнодушно отнеслась к новому своему положению.

Прошел год — родился у нее сын, а через несколько дней скончалась императрица.

Анна Леопольдовна поплакала искренно. Но много ей плакать не давали, говорили, что это вредно для ее здоровья в ее теперешнем положении; она слушалась этих советов и переставала плакать.

Теперь она родительница царствующего государя, Иоанна III. Жизнь невеселая по-

прежнему, по-прежнему вместе с нею муж нелюбимый, который теперь ей просто смешным кажется. Над ними обоими владычествует тот же ненавистный Бирон. Плохо, совсем плохо живется, и отрада одна только в вечном неизменном спасителе — сне глубоком, сне без сновидений.

Но не далее как вчера был у нее с Юлианой разговор о графе Линаре. И вдруг оживилась Анна Леопольдовна, и вдруг ей показалось, что теперь возможно стало снова увидеться с этим милым, не забытым ею человеком.

Решились они послать ему тайно письмо, чтобы он просился снова в Россию. Это-то письмо, составленное Юлианой, жадно так читала и перечитывала Анна Леопольдовна...

Перед нею, наконец, бумага и чернила, она осмотрела перо и опять, наказав Юлиане прислушиваться в соседней комнате, чтобы кто не пришел, принялась переписывать.

Письмо уже было почти готово, когда вбежала Юлиана и сказала, что идет принц.

— Вот еще нашел время! — с досадой проговорила Анна Леопольдовна. — Особенно его-то теперь недоставало!

— Да я удержу его, а ты скорее дописывай.
И она побежала навстречу принцу Антону.
Он шел к жене озабоченный и растерянный. Его маленькая, худенькая фигурка, бледное лицо с застывшим выражением наивного испуга, действительно, производили не совсем выгодное для него впечатление.

— Где принцесса? — спросил он Юлиану.
— Здесь, у себя, читает что-то, — отвечала молодая девушка.

Он хотел пройти мимо, но она его остановила.

— Принц, что с вами, отчего вы так расстроены? — спросила она и постаралась выразить на своем лице большое участие.

Он взглянул на нее, остановился и протянул ей руку.

— Да что, Юлиана, совсем плохо, — сказал он. — Вот иду все объяснить жене, услышите.

— А вы мне-то, мне-то скажите, что с вами, не пугайте! — говорила она, лаская его своим взглядом и не выпуская его руку.

Он слабо ей улыбнулся, даже на глазах его показались слезы. Он поднес ее руку к своим губам и крепко поцеловал.

— Ах, Юлиана, вы не поверите, как мне дорого ваше участие!

Она ничего не говорила, только продолжала ласкать его взглядом и чутко прислушивалась, когда можно будет выпустить его руку.

Но он, конечно, не мог и вообразить об ее хитрости, он видел только ее нежный взгляд и даже на мгновение позабыл о своем горе.

Он уже давно решил, что жена для него безнадежна, что она его не любит и никогда любить не будет. Да и в себе самом не замечал он к ней особенной страсти.

Ему гораздо больше нравилась Юлиана Менгден, и магические взгляды этой красивой и смелой девушки не в первый раз трогали его чувствительное сердце.

Теперь, может быть, он не ограничился бы даже поцелуем ее руки и пошел бы дальше, несмотря на всю свою природную скромность и застенчивость, но в это время Юлиана расслышала через комнату шаги Анны Леопольдовны и выпустила руку принца Антона.

— Принцесса идет, — сказала она.

Молодой человек неловко отскочил от фрейлины и пошел навстречу жене.

— Что это у вас такое странное лицо? — спросила Анна Леопольдовна, не обращая никакого внимания на супружеский поцелуй принца Антона (она не видала его со вчерашнего вечера и жили они на разных половинах).

— Случилось что-нибудь: Верно, опять Бирон?

— Конечно, он! — отвечал плаксивым голосом принц. — Всех забирает. Представьте себе, сегодня чуть свет арестовал Граматина, до нас добирается. Ведь, это что ж такое? Ведь, дня спокойно прожить невозможно. Я знаю, чего он хочет: ему мало того, что он сделал себя регентом, ему хочется совсем нас уничтожить. Вот посмотрите, не сегодня — завтра он станет добиваться, чтобы нас вон выслать из России. Что же это такое?

В голосе его уже совсем слышались слезы.

— Так надо действовать! — вмешалась Юлиана. — Как будто у вас мало сторонников!?

— Конечно, надо действовать, — снова заговорил принц. — Да как? Вот только что начнешь, а он уж и похватал всех!..

Не успел он договорить, как в комнату, без всяких необходимых церемоний, вбежал один из его камер-юнкеров и спешно доложил, что государь-регент приехал и идет прямо сюда.

— Как? Сюда, без доклада? — проговорили разом принц и принцесса.

Они возмутились, но в то же время оба страшно перепугались и стояли неподвижно, с бледными, вытянутыми лицами.

В соседней комнате, действительно, раздавались быстрые, неровные шаги, и через несколько мгновений на пороге показался Бирон.

По всем его движениям и по лицу было заметно волнение и бешенство.

Он вовсе непочтительно поклонился принцу и принцессе, обошелся на этот раз без всяких необходимых и неизбежных вежливостей и уже хотел было говорить что-то, но принц Антон нашел в себе мужество перебить его.

— Что вам угодно, герцог? — сказал он, стараясь по возможности придать храбрый вид своей маленькой фигурке. — Что это вы так

прибежали, и прямо сюда, и без доклада? Видите, принцесса не одета.

— Ах, извините, принцесса, — раздражительно выговорил Бирон, — я не рассчитывал, что у вас все еще раннее утро продолжается. Впрочем, теперь, право, не до церемоний... Что ж это вы, ваше высочество! — еще насмешливее обратился он к принцу. — Что это вы такое затеваете, скажите на милость?!

— Что я такое затеваю?!. — с явной дрожью в голосе и во всех членах, но с тем же старанием казаться бодрым, прошептал принц. — Ничего не затеваю!

— Нет — с, вы затеваете и затеваете скверные вещи, вы хотите учинить массакр, рубку людей устраиваете! Так что ж, вы думаете, что я так вам это и позволю? Что ж, вы думаете, очень я боюсь вас!?

Принц и принцесса испуганно, с пересохшим горлом и остановившимися глазами, глядели на этого бешеного человека, забывающего всякие приличия, и даже позабыли внутренне возмущаться его поведением.

Но Юлиана Менгден, более хладнокровная и внимательная, стоя в сторонке, наблюдала

за Бироном. Ей ясно было, что если принц и принцесса так трусят и трепещут, то и Бирон, в свою очередь, несмотря на всю дерзость и бешенство, трусит и трепещет, может быть, не меньше их. Вот он, чуть не в третий раз повторяет: — «вы думаете, я боюсь вас!?» и одной этой фразой показывает, что точно боится. Не их он боится, а знает, что за ними стоит огромная сила — миллионы: войско и народ. И этот громадный призрак так для него страшен, что за ним он даже не различает испуганных фигур принца Антона и Анны Леопольдовны.

— Что же это вы на свой семеновский полк надеетесь? — продолжал кричать Бирон. — Так не бойтесь, и на него надежда плохая. Вы думаете, у меня глаз нет, ушей нет? Напрасно так думаете. Вот сегодня ваш Граматин все рассказал; так знаете ли, что за такие дела, хоть вы и родители государя, а можете очень поплатиться? Вы не забывайте, что, будучи родителями государя, вы в то же время и его подданные. А как с подданными, умышляющими государственные смуты, с вами легко справиться. Советую образумиться, — затем и

приехал, чтобы сказать вам это, — советую вовремя образумиться и не учинять массакра, не то сильно раскаетесь...

III

В то время как лихорадочная, исполненная всяких тревог и волнений жизнь шла в Зимнем и Летнем дворцах, третий небольшой дворец, помещавшийся близ Царицына луга, там, где теперь казармы павловского полка, поражал своею тишиною. Не было здесь никакого съезда, не было парадных караулов; хоть и часто заглядывали сюда гвардейские солдатики, но все больше с заднего крыльца, да тихомолком. В этом дворце жила царевна Елизавета.

Не мало русских людей, задумывавшихся над судьбою отечества, обращались мысленно к этому дворцу и все ждали: не будет ли оттуда какой новости.

Многие предсказывали, что скоро цесаревна даст о себе знать, потребует признания своих законных прав, и права эти, конечно, будут признаны.

В смутное время, когда с таким трудом и с такими хитросплетениями решается вопрос о

престолонаследии, пора явиться перед народом дочери Петра Великого. Многие русские люди не только что думали об этом, но и ждали этого с сердечным замиранием, с горячей надеждой. Тяжело им было молчать и ждать, но они молчали и только всеми силами старались что-нибудь проведать про царевну, узнать ее мысли, попытаться, почему она медлит. А узнать о ней был один только путь, через тех же солдат-гвардейцев, которые давно называли ее своей матушкой и любили ее без памяти. Да как было и не любить ее и солдатам, и русскому народу? Эта любовь соединялась в них с чувством жалости, а народная жалость — великое дело. Жалели цесаревну за долгие годы ее печальной жизни, жалели за то, что она, матушка, все терпела, ни на что не жаловалась, никого не обидела дурным словом, встречала всех приветом да лаской.

Знали про нее также, что еще во дни первой молодости многим иноземным принцам — женихам она отказала для того, чтобы только остаться в России, жить со своим народом.

Всякие рассказы про нее ходили. Вспоминалось о том, как жила она, забытая и обойденная, в подмосковном селе Покровском. Всякую нужду тогда терпела, да мало тужила о нужде этой; забыла пиры да банкеты, отказалась она от всякого блеска. Только принарядиться любила по-прежнему и не раз выходила, особенно в праздники, на широкую деревенскую улицу, светлая да прекрасная, как солнце небесное, нарядная и приветливая, улыбалась народу, заводила хороводы с деревенскими девками, пела с ними песни, да не то что пела, а и сама им песни складывала.

Все знали, что стоит заглянуть теперь в Покровское в день праздничный и поют там — заливаются:

*«Во селе, селе Покровском,
Середь улицы большой
Расплясались, разыгрались
Красны девки меж собой».*

Эту песню сложила цесаревна, и всякий малый ребенок ее знал и все поют ее, припоминая чудный свежий голос матушки Елизаветы, и будут петь еще долгие годы, и не умрет о ней никогда память в селе подмос-

КОВНОМ.

Но непродолжительна была веселая жизнь деревенская, закатилось красное солнышко Покровского. Переехала цесаревна в Петербург, по зову императрицы Анны. Появилась она при дворе, сияя своей красотой и своими нарядами, но что же увидела? Императрица встречала ее неласково, хоть и вежливо: чувствовалась затаенная зависть в каждом слове. Старые друзья все отвернулись, да мало друзей и прежде было. Все, как есть, будто позабыли, чья она дочь, никому до нее дела не было. Одна только императрица не забывала, чья дочь цесаревна, и жадно в нее всматривалась: все боялась: «а, вдруг, как она права свои заявлять станет, вдруг наберет себе партию, большую, как бы беды не случилось».

И вот были вечно приставляемы к цесаревне всякие шпионы, доносилось о каждом ее слове и каждом движении, вся ее подноготная расписывалась. Долго не могла успокоиться Анна Ивановна, не видела она, не замечала, что ни о каких заговорах и не думает цесаревна.

А время шло и мало-помалу ложились его

темные следы на светлое лицо Елизаветы, проходила ее первая молодость. Изменилась она и видом и характером. Кто знал ее во дни Екатерины и потом, в краткое царствование Петра II, кто помнил ее беззаботной, вечно веселой, вечно смеявшейся и шутившей девушкой, теперь с трудом узнал бы ее. Все реже и реже озарялась она улыбкой, реже смеялась и шутила, никого теперь она не передразнивала, ни на кого карикатур не рисовала, никого не поднимала на смех, как бывало делала это со светлейшим князем Меншиковым и многими другими высокими особами.

Напротив, теперь ее разговор сделался серьезный и осторожный. Она взвешивала каждое слово; на всем лице ее лежала печать тайной, давнишней печали. Сама чудная красота ее, о которой издавна не мало толков шло по всей русской земле, о которой прокричали на весь мир иностранные резиденты, приняла совсем другой характер. Она не уничтожилась, не потемнела, даже распустилась еще пышнее. Но только эта была красота уже не юная, это была красота узнавшей жизнь и це-

ну жизни, много пережившей и перестрадавшей женщины.

Все близкое, все дорогое и любимое давно ушло и погибло. Счастливое детство вспоминалось, как сон далекий и светлый, ничего от него не осталось. Не такую долю отец с матерью ей готовили; да где эти отец и мать? Раньше всех покинули. Ну, а после них что было? Сестра дорогая осталась, любимая, и та умерла безвременно, далеко — не удалось с ней и проститься.

Потом был добрый и милый мальчик, страстно привязанный к цесаревне: его сначала отвратили от нее, а потом погубили злые люди.

Была у цесаревны и другая дорогая ей, далеко не всем ведомая привязанность.

Не на радость любило ее сердце: все те, кого она любила, так или иначе были у нее отнимаемы, и, в конце концов, осталась она одна, и видела вокруг себя только недружелюбные взоры, и некому было ей сказать задушевное слово, не с кем было поплакать, не с кем было поделиться и своим горем, и своими надеждами.

Но без теплой привязанности, без ласки не могла жить Елизавета. Много сокровищ тайло в себе ее горячее сердце, и непременно надо было, чтобы кто-нибудь пользовался этими сокровищами.

Другая бы на ее месте возненавидела всех, кипела бы только злобой да жаждой мести, строила бы свои ковы. Но цесаревна не была на это способна. Она только плакала временами, да так тихо, так сокровенно, что никто и не знал о слезах этих. Она махнула рукой на врагов своих и в душе себе сказал: «Бог с ними». Она решилась уйти от них, видя что между ею и ими, и той жизнью, которая окружает их, нет теперь ничего общего. Но что же ей было делать с собою? Чем наполнить жизнь свою — учиться? Она и так всегда много училась и легко ей все давалось; к тому же ей хотелось живой деятельности, общения с живыми людьми. И вот она выходила на широкую Покровскую улицу и пела с деревенскими девками свои песни, и нянчила, и крестила детей деревенских, и по временам забывалась. Забывала все свое прошлое, все будущее, жила душою с народом. Из дочери Пет-

ра Великого, из царевны русской, превратилась в Покровскую красавицу.

А потом и в Петербурге, когда появление при дворе сделалось поневоле для нее пыткой, она снова старалась у себя найти свою прежнюю жизнь, найти новую связь с народом.

Ее подозревали в честолюбивых планах. Но долго, долго честолюбие не закрадывалось в ее сердце, она сходилась с гвардией не ради каких-либо планов, а просто ради собственного удовольствия.

Она и в детстве, еще при жизни Петра, всегда была окружена офицерами и гвардейскими солдатами и теперь, по возвращении в Петербург, те же офицеры и солдаты составили ее любимое и почти единственное общество. Не происходило ни одного дня, чтобы она не крестила ребенка, родившегося в каком-нибудь из гвардейских полков, и не угощала изобильно отцов и матерей.

С самого раннего утра, обыкновенно, дожидались ее выхода несколько солдаток. Они приносили ей своих ребятишек и она ласкала этих ребятишек, дарила им всякие обновки,

сама наблюдала за шитьем и сама шила для них всякую одежду. А разболеется кто, — тоже ее дело, — сейчас советуется она со своим медиком, Лестоком, и заставляет его лечить. Нужда ли в чем встретится солдатам, цесаревна всегда готова помочь всеми зависящими от нее мерами, готова отдать последнюю копейку, а денег у нее немного, так немного, что часто даже долги делать приходится.

Скучно цесаревне, повеселиться немного захочется, опять кто же и развеселит ее, как не те же гвардейцы.

Есть у нее дом, известный под именем Смольного; он стоит неподалеку от Преображенских казарм. Так вот она едет туда и часто там ночует. Там собираются у нее Преображенские солдаты и офицеры, она устраивает вечеринку, потчует их, и всем привольно и весело, никто не стесняется, время незаметно проходит.

«У принцессы Елизаветы ассамблеи для Преображенских солдат» — подсмеиваются во дворце. Но цесаревна не обращает никакого внимания на эти подсмеивания. И моложе была, так не заботилась о том, что скажут лю-

ди, не боялась толков да пересудов, а теперь старше стала, так чего уж бояться! За всяким мнением, за всякой сплетней и насмешкой не утоняешься.

В последнее время, а особенно с того дня, как стали ходить слухи о серьезной болезни императрицы Анны, друзья цесаревны — солдаты и офицеры, не раз намекали ей, что «скажи, мол, матушка, слово и все за тебя, как один человек, встанем, отстоим твое законное наследие!»

Но цесаревна с милой, ласковой улыбкой прикладывала палец к губам и шептала им:

— Тише, тише... Если Богу угодно, все придет в свое время, а теперь еще рано. Не хочу я подвергать вас опасности, потерпите...

И солдаты, и офицеры, и весь народ русский терпели и ждали, затаивая в себе убеждение, что рано или поздно, а орлиная дочка будет на престоле.

Что ж она медлила? Теперь давно уж не было в ней легкомыслия, теперь она уж вступила в зрелый возраст и много думала наедине сама с собой. Вот уж она, действительно, начинала видеть, что скоро может произойти

с ней большая перемена, и было ей страшно подумать об этой перемене. Она так от всего отстала, о чем когда-то хоть и редко, но все же иногда думала. Она уж сжилась со своей незавидной долей. Ей не нужно престола, ей не нужно блеска, не в нем счастье. Но если это необходимо для блага России, она, конечно, не задумается. Только, в таком случае, дело это надо делать осторожно. Действительно, надо позаботиться об участии тех, кто готов за нее и в огонь и в воду, действительно, все необходимо сделать так, чтоб невозможна была неудача, чтоб никто ради нее не поплатился жизнью. И еще нужно сделать так, чтобы не быть ничем обязанной посторонним, чтоб никакой швед не мог требовать себе награды. Если это неизбежно, она дойдет до престола, но с помощью одной только своей любимой гвардии. Ни одной пяди земли русской, ни одной пяди земли, добытой и завоеванной отцом ее, она не уступит. И для всего этого следует ждать и теперь только внимательно во все вглядываться, чутко ко всему прислушиваться. И она вглядывается и прислушивается. Она знает обо всем, хоть и нет

у нее шпионов на жаловании, просто к ней приходят ее солдаты и рассказывают все, что слышат.

Она знает, что вот уже началось движение в войске, но что войско еще само хорошенько не понимает, чего ему нужно. Есть голоса за нее, а все-таки больше теперь голосов за принца и принцессу брауншвейгских.

«Ну и пусть делают, что хотят! — думает Елизавета. — Пусть добиваются своих принца и принцессу. Добьются их и увидят, что обманулись, что не то совсем надо, и опять захотят нового и уж настоящего. Захотят навсегда вырваться из рук немцев, и вот тогда я одна только у них буду, тогда уж не явится разногласий, не за кого будет со мной спорить. Тогда, если будет сделано мое дело, некого мне будет бояться, а теперь... Нет теперь рано: поспешишь, людей насмешишь, а уж я не хочу никого смешить собою... пусть теперь брауншвейгские!..»

IV

Дом цесаревны Елизаветы не по одной только тишине, бывшей вокруг него, составлял противоположность Зимнему и Летнему

дворцам: он и внутри был мало похож на них. Там царствовала необыкновенная роскошь, заставлявшая изумляться иностранных резидентов, здесь убранство было довольно просто, а в иных покоях так даже замечалась некоторая неряшливость. Штат прислуги у цесаревны был незначителен, да к тому же, хоть она в последнее время и получала со своих имений около сорока тысяч рублей ежегодно, но не могла на эти средства заботиться об отделке своего дома и подновлять его. Все ее деньги шли на подарки окружавшим и солдатским семействам. И когда ей хотелось купить себе самой какую-нибудь обновку, часто приходилось занимать на это где только возможно.

Весь этот день Елизавета не выезжала, ссылаясь на нездоровье и дурную погоду; в сущности, она просто не хотела никому на глаза теперь показываться. Она знала, что в городе идет сильное движение, что гвардия волнуется и боялась, как бы при ней некоторые солдаты не произвели чего-нибудь несвоевременного.

Утром, по обычаю, в задних своих комна-

тах принимала она солдаток, осведомляясь о здоровье своих крестников, раздавала обновки и лекарства. Никто из сановников не посетил ее. Обедала она со своей всегдашней компанией и вот теперь, после обеда, сидит в теплой, слабо освещенной комнате и играет в шашки с камер-юнкером своим, Петром Ивановичем Шуваловым.

Рядом с ними помещается старый закадычный друг цесаревны, Мавра Шепелева, а взад и вперед по комнате шагает, думая какие-то тайные думы, хирург Лесток.

Ни малейшей принужденности не чувствуется в отношениях этих трех лиц к цесаревне. Шувалов серьезно обдумывает свои ходы в шашках и всеми силами старается выиграть партию.

Лесток, прохаживаясь по комнате, по временам что-то мурлычет себе под нос и пощелкивает пальцами о попадающуюся мебель.

Мавра Ивановна погружена в работу: шьет что-то и, только изредка взглядывая на играющих, произносит односложные фразы, относящиеся к неудачному ходу то того, то другой. Глядя на них со стороны, можно подумать,

что они просто убивают время, как много лет и делали это.

Но теперь не то, теперь осталась только внешняя сторона прежней этой жизни, а между тем, у каждого на душе лежит большая забота. Каждый сознает, что приходит наше время, что скоро начнется новая жизнь, и каждый невольно мечтает об этой жизни, старается заглянуть в близкое будущее.

Мавра Шепелева ждет не дождется дня, когда увидит на престоле своего старого друга. О себе она не думает, ей всегда хорошо, лишь бы только улыбнулось полное счастье цесаревне. С детства знает она ее, одиннадцати лет еще назначена была к ней камер-юнгферой, а потом сделалась ее фрейлиной и другом.

Только раз пришлось им разлучиться, когда Елизавета уступила ее своей любимой сестре Анне Петровне и снарядила ее в Киль, откуда она должна была, как можно чаще, подробнее извещать обо всем, что там творится.

После ранней и неожиданной смерти Анны Петровны вернулась Шепелева снова к Елизавете и уже не расставалась с нею. Знает

она каждый день ее жизни, каждую думу. Каждую радость и беду переживали они вместе. Издавна она привыкла в мыслях своих не отделять себя от Елизаветы, и теперь, помышляя о том, что может совершиться, часто рассуждает сама с собой: «что будет, когда мы достигнем престола?!»

Петр Иванович Шувалов тоже ждет не дождется грядущих радостных дней. Много планов и много надежд честолюбивых копошится в его молодой голове и он бы всеми силами поторопил день этот. Он находит, что время давно уже пришло, и не раз в жарких разговорах толкует об этом; но его мнениям еще не придают особенную силу, еще живут умом гановерца Лестока, хирурга, а хирург объявляет, что ждать нужно.

Партия окончена, цесаревна проиграла. Мавра Шепелева без церемонии хлопнула ее по плечу.

— Ну что, матушка, опростоволосилась? А уж как шашки-то подошли, ни за что бы не уступила Петру Иванычу.

— Ничего, Мавруша, ничего, — отвечала, засмеявшись, Елизавета и все прекрасное ли-

цо ее на мгновение озарилось, — ничего, если шашечную игру проиграла, шашки уступлю кому угодно, вот бы другую игру не проиграть только!

Лесток вышел из комнаты, но сейчас же и возвратился.

— Цесаревна, — сказал он, — гости к вам.

— Кто это?

— Да кто же, как не маркиз, — ответила Шепелева за Лестока., — Кто к нам теперь тихомолком по ночам приезжает, словно на любовные свиданья? Наверное, он!

— Он и есть, — сказал Лесток.

— Так просите его, — опять улыбнулась Елизавета, — и оставьте нас; может быть, это и, действительно, любовное свидание.

— В таком случае, мне ревновать надо, — смеялась Шепелева, — я, право, совсем влюблена в маркиза, никогда еще не видывала такого красавца.

Она взяла под руку Шувалова и вместе с ним вышла из комнаты.

Елизавета осталась одна. Через несколько мгновений дверь отворилась снова и к цесаревне приблизился, едва слышно ступая по

мягкому, несколько уже истертому ковру, маркиз де-ла-Шетарди, французский посланник.

— *Soyez le bien-venu, marquis*, [1] — с ласковой улыбкой обратилась к нему Елизавета, протягивая руку и приглашая его сесть рядом с собою.

Маркиз грациозно поместился на кресле.

Шепелева очень преувеличивала, говоря о нем, что такого красавца она еще не видала.

Шетарди был уже не первой молодости и вовсе не красавец, но у него было одно из тех тонких, художественных, загадочных лиц, которые так нравятся женщинам. Небольшого роста, стройный и гибкий, роскошно, но без шаржировки и со вкусом одетый, он, очевидно, чувствовал себя в своей стихии, когда являлся в обществе и по преимуществу женском.

Еще девять лет тому назад маркиз де-ла-Шетарди начал в Берлине свое дипломатическое поприще; скоро он обратил на себя всеобщее внимание, как замечательный дипломат и, действительно, он был совершеннейшим типом дипломата того времени. Он об-

ладал всеми нужными для этого качествами: он был рожден для интриги. Лукавый, двуличный, умеющий незаметно и тонко подкопаться под врага, расставить ему сети, поймать его в ловушку и, при этом, остроумный и любезный, знающий, как влезть в душу человека, баловень женщин, — таков был маркиз де-ла-Шетарди.

Фридрих II выражался о нем в одном из своих писем: «le marquis viendra ici la semaine prochaine, — c'est un bonbon pour nous».[2]

Эта конфетка явилась, наконец, в Россию для того, чтобы укрепить дружбу между русским двором и французским.

Немного потребовалось ему времени, чтобы сразу понять все, что здесь творится и увидеть, чего ему надо добиваться. Он понял, может быть, раньше всех, как непрочное положение Бирона и брауншвейгских, и в последние дни оказался большим другом цесаревны Елизаветы. Действительно, точно на любовное свидание приезжал он к ней вечером, в темень, в закрытой карете.

Теперь, усевшись рядом с цесаревной, он, конечно, начал с комплиментов; в те времена

еще легко было говорить комплименты, не боясь их пошлости. Он сделал как бы невольное сравнение между ужасной невыносимой погодой, все ужасы которой он чувствовал даже в закрытой карете, — и светлым, цветущим видом царевны.

Она ответила ему, что в такую отвратительную погоду, в такой сырой вечер не трудно показаться светлой и цветущей.

— Но оставим погоду и меня, я жду от вас новостей, маркиз, — заговорила Елизавета. Она прекрасно говорила по-французски, и ее с детства приучили к языку этому, так как Петр думал впоследствии выдать ее за французского короля Людовика XV, за того маленького мальчика, которого носил он на руках в бытность свою в Париже и которого назвал в письме своем к Екатерине «дитей весьма изрядной образом и станом».

— Да какие новости, ваше высочество! — сказал маркиз. — Сегодня печальные новости, регент продолжает аресты, и арестованных пытаются. Сегодня, мне передавали, была пытка: пытали гвардейских офицеров. Ужасы с ними там делают, в этом, как он у вас там

называется, застенок... так, кажется?

Елизавета невольным и искренним движением закрыла лицо руками и вздрогнула.

— Ах, это ужасно, — сказала она. — Так вот видите, маркиз, почему я медлю? Не упрашивайте же меня, не уговаривайте. Не за себя я трушу, а что же вы хотите, чтоб я безвинных погубила?! Да поймите же вы, поймите, что я не вынесу, если из-за меня кого-нибудь пытаться будут, потом часу спокойного иметь не буду.

Маркиз пожал плечами.

— Да, ведь, все равно, принцесса, ведь, уж и за вас тоже пытаются. Vous savez, on a arrêté ce matelot Tolstoy[3], ведь, он то же самое вытерпел, что и остальные, не знаю только, что с ним теперь сделали.

Елизавета сидела совсем больная.

— Знаю, знаю, — проговорила она, — но, по крайней мере, я здесь не виновата, я ничего не поручала ему, а о нем не имела никакого понятия.

— Я могу только преклониться перед вашим человеколюбием и добротой вашего сердца, которая мне хорошо известна, — заго-

ворил снова маркиз, — но мне кажется, что вам следует торопиться и именно для того, чтобы прекратить эти пытки и казни. Виделся я сегодня со шведским министром и много мы с ним о вас говорили. Он тоже того мнения, что наступает для вас самое благоприятное время. Мы оба всеми силами готовы способствовать вам, принцесса. Дело можно обделать так, что неуспех окажется невозможным. Шведский министр гарантирует вам помощь со стороны Швеции, а я буду служить вам деньгами.

«От французских денег я не откажусь, — придется, конечно, к ним обратиться, — подумала Елизавета. — Но что касается до шведской помощи — нет, на это не согласна! Ничем я не буду обязана шведам, чтобы потом ничего не смели они от меня требовать». Но, конечно, этой своей мысли она не высказала Шетарди и он решился, наконец, проститься с нею, опять-таки не добившись от нее никакого решительного ответа.

Выйдя из комнаты цесаревны, он встретился с Лестоком, остановил его и начал доказывать выгодность своих предложений и

предложений Швеции, необходимость торопиться.

— Я с вами совершенно согласен, маркиз, — ответил Лесток, — но вы напрасно думаете, что от меня зависит многое.

— Ах, не говорите, не говорите, mon cher, — знаю, какое влияние вы имеете на принцессу!

— Вы ошибаетесь, — снова сказал Лесток, — у нее своя воля. Она говорит, что не время и я ровно ничего не могу сделать.

— Но, однако ж, постарайтесь, mon cher, — протянул ему руку маркиз. — Заезжайте ко мне — мы потолкуем.

Лесток любезно расшаркался и обещал непременно приехать в первую свободную минуту.

Цесаревна, оставшись одна, долго сидела в задумчивости и даже не заметила, как к ней подошел кто-то. Наконец, она очнулась и увидела пред собою высокого, стройного молодого человека.

Он был одет очень просто: в темный суконный казакин. Но эта простота одежды еще более выставляла необыкновенную красоту его.

Он глядел на цесаревну ясными светлыми глазами и она невольно забыла все свои думы от этого взгляда.

— Где это ты ты пропадал весь вечер, Алеша? — обратилась она к нему.

— Да вышел после обеда немножко прогуляться и встретился с знакомым офицером, — отвечал, улыбаясь, молодой человек.

В его выговоре слышалось малороссийское произношение. Елизавета пристально взглянула на лицо его, на его румяные щеки и укоризненно покачала головой.

— Знаю тебя, Алеша, встретился с знакомым офицером, ну и зашел, конечно, к нему, ну и выпили изрядно. Эх, как тебе, право, не стыдно!..

— Нет, цесаревна золотая, коли бы я изрядно выпил, так не смел бы явиться перед твоими ясными очами, а вот, видишь, стою, как ни в чем не бывало, значит, не изрядно выпил.

— Ну, да, да, рассказывай! Вот лучше скажи, не слышал ли чего нового?

— Расскажу, расскажу, только позволь сесть, устал я.

— Садись, кто же тебе мешает?

И Алексей Григорьевич Разумовский с видимым удовольствием опустился в мягкое кресло.

— Страшные дела делаются: Бирон теперь, что зверь лютый — всех пытается.

— Да, слышала я уж это, сейчас маркиз сказывал. Только имени он, конечно, назвать не мог. Кого же пытали, знаешь? Хоть страшно и расспрашивать об этом, да все-таки, знать нужно, говори.

— Пытали рано утром Ханыкова, Аргаманова и Алфимова, поднимали их на дыбу. Ханыкову дали шестнадцать ударов, а Аргаманову и Алфимову по четырнадцать ударов, все это доподлинно известно, а после них, слышал я тоже, приводили в застенок и на дыбу поднимали Яковлева, Пустошкина, Семенова и Граматина. Сам генерал Ушаков присутствовал, только вот к вечеру уехал.

Цесаревна грустно и внимательно слушала Разумовского, а он продолжал передавать ей все, о чем слышал, о чем говорил в этот день со своими знакомыми.

Он постоянно приносил ей городские новости. Из его рассказов она могла составить

верное понятие о том движении, которое начинается в ее пользу в гвардии. И она очень любила эти рассказы, потому что Разумовский передавал все точно и подробно и в то же время не вставлял своих замечаний, не давал советов, не лез со своими убеждениями и уговариваниями.

Долго так беседовали они, и никто не нарушал их разговора. Лесток зашел было на минуту в комнату, да и опять вышел. Но вот и говорить не о чем, все переговорено и передано.

— Спой мне что-нибудь, Алеша! — обратилась Елизавета к Разумовскому. — Да только тише, теперь громко петь не годится.

Разумовский не стал долго задумываться. Он закинул голову и в тихой комнате раздались нежные звуки чистого прекрасного тенора.

Он запел старую казацкую песню и с первых же слов забыл все окружающее, ушел всею душою в звуки.

Цесаревна оперлась головою на руки, не отрываясь смотрела на певца и жадно слушала. Песня кончена, а слушать все хочется.

— Спой еще что-нибудь, да только русское!
Разумовский на мгновение задумался и вдруг на лице его мелькнула хитрая улыбка.
— Придумал! — сказал он. И запел:

*Я не в своей мочи огонь утушить,
Сердцем болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно, и без тебя
скучно,
Легче б ты не знати, нежель так
страдати
Всегда по тебе.*

Цесаревна все так же жадно слушала, но с каждым новым звуком лицо ее принимало все более и более грустное выражение. Вот и слезы затемнили светлые глаза ее и скатились по полным румяным щекам. Слишком знакома была ей эта песня: она сама сочинила ее в прошедшие юные годы, в минуты глубокой, теперь уж позабытой, тоски и горячего молодого чувства. «Зачем все это снова напомнил неразумный Алеша?»

— Замолчи, замолчи! — наконец, не выдержала цесаревна и поднялась со своего места. Она подошла к Разумовскому, спутала своей нежной белой рукой его кудри.

— Ах ты, голова бестолковая, — печально и ласково сказала она, — какую песню петь выдумал!..

— А что ж, разве дурна моя песня? — наивно и изумленно спросил Разумовский. — Никогда не певал я еще при тебе, государыня, эту твою песенку, думал поблагодарствуешь, что ее выучил.

— Эх, ты, Алеша, Алеша! — повторила цесаревна. — Прежде бы спросил, допытался, когда та песенка мною сложена, да про кого сложена, а потом бы уж пел мне. Оставь меня, уйди теперь, вели собирать ужин.

Он взглянул на нее и, с почтением и любовью прижавшись губами к протянутой ему руке, вышел исполнить ее приказание.

А у нее снова показались на глазах слезы.

«Глупый Алеша! Зачем он все это напомнил?!» — почти громко шепнула она.

Ей вспомнилось все прошлое, связанное с этой песней. В теплой тишине ее комнаты встал перед нею позабытый, когда-то горячо любимый образ молодого красавца Шубина.

Этот Шубин был гвардейский прапорщик. Его красота, ловкость и решительность обра-

щали на него всеобщее внимание.

Молодая принцесса тоже любовалась им, как и все другие, и сама не заметила, как зародилось в ней к нему глубокое, страстное чувство. Она приблизила его к себе; сделала своим ездовым. Она даже мечтала навсегда соединить его судьбу со своею: мечтала выйти за него замуж.

А он со своей стороны употреблял всю энергию для того, чтобы принести ей пользу. Он был любим всеми товарищами-гвардейцами. Он сблизил ее с гвардией, сделал ее популярной в войске. Если теперь случится то, о чем они все думают, если и взойдет она благополучно на престол отцовский, то началом всего этого она обязана Шубину. Он для нее работал первый и первый же за нее поплатился страшно. Движение в гвардии было замечено. Шубина схватили; светлые мечты разлетелись прахом. Никогда уж более не видала цесаревна своего друга. Его засадили в каменный мешок, в нору каменную, где нельзя было ни лечь, ни сесть.

Всячески осведомлялась она о судьбе его, наконец, узнала, что послали его в Камчатку. И

еще пуще насмеялись над ним и над нею: насильно женили его на камчадалке, и сделали все это тайно. Сослали его под чужим именем и запрещено с тех пор упоминать его имя.

Страшные, тяжкие дни переживала тогда бедная цесаревна.

Ее чувство к Шубину было не простым милостивым чувством: она любила его искренно и долго, долго плакала по нем и долго не могла примириться со своей судьбой. Одно только время, мало-помалу, залечило ее раны. Сердце просило жизни, искало любви и ласки. Прекрасный образ несчастного Шубина побледнел и расплылся в тумане воспоминаний; в сердце Елизаветы появился новый, не менее прекрасный, живой, веселый и беззаботный образ молодого казака и певца Алеши Разума.

«Глупый Алеша! Зачем он это все напомнил?!» — повторяла цесаревна, и долго не могла остановить своей тоски, все мерещились ей прежние картины.

Так печальной, задумчивой и вышла она к ужину и наказала Алексея Разумовского за его недогадливость тем, что почти и не заме-

чала его присутствия в этот вечер.

V

На следующее утро цесаревна едва успела одеться, как ей доложили, что приехал герцог. Она удивилась несказанно и даже не могла победить в себе испольного волнения.

Все эти последние дни она не видала Бирона. Она знала, какое тревожное это для него время, знала, что он всюду теперь раскрывает заговоры, пытается людей. Она слышала, что вчера ездил он в Зимний дворец, и там кричал на принца и принцессу.

Мавра Шепелева узнала все это из верного источника и сейчас же, конечно, подробно рассказала царевне;.

Зачем же он приехал? Какое это будет свидание, и чем оно кончится? Наверно, и тут все дело заключается в открытии какого-нибудь заговора: опять кто-нибудь из офицеров попался... Что если он вздумает и на нее кричать? Она не потерпит этого! Чем же тогда кончится? Конечно, ей с ним еще можно побороться, конечно, она тогда будет вынуждена поторопиться с исполнением своего плана... Но идти наобум, когда еще ничего не со-

зрело, очень может быть — потерпеть неудачу и погибнуть!.. Лучше уж заранее приготовиться ко всему, заранее заставить себя быть хладнокровной, ничем не возмущаться, вынести его дерзости, его крик... Да, это нужно, это необходимо ради дела, ради всей будущности...

Но вытерпит ли она, вынесет ли? Нет, ни за что! При одной мысли о том, что Бирон будет кричать на нее и она станет это равнодушно, молчаливо слушать и склоняться перед ним, краска стыда и негодования бросилась в лицо Елизаветы.

— Нет, я не потерплю этого. Я не позволю, чтоб этот холоп кричал на меня! — сверкнув глазами, сказала она Мавре Шепелевой.

Ее сердце быстро стучало.

На добром и, но обыкновению, спокойном лице ее выражалось горделивое чувство и негодование. Вся обида, все смущение, вызванные этим неприятным, ожидаемым свиданием, как не бывали. Она вышла в свою приемную к Бирону, высоко держа голову. Холодная и величественная, она точно была в эти минуты орлиною дочерью.

Бирон, бесцеремонно сидевший в кресле, ожидая ее появления, быстро встал к ней навстречу и протянул ей руку.

Было мгновение, когда ей захотелось не дать ему своей руки. Она взглянула на него и, если б увидела в нем какие-нибудь признаки раздражения, если б увидела что-нибудь дерзкое, или даже непочтительное в его обращении к ней, она бы и не дала ему руки.

Но он стоял перед нею в довольно почти-тельной позе, любезно и ласково улыбался. Он протянул ей руку первый, без всякой мысли о том, что это не совсем прилично, по простой, издавна приобретенной привычке думать, что его рукопожатие должно приносить честь даже принцессе.

И она не начала первая ссоры. Она любезно ему улыбнулась, поместилась на маленький диванчик и грациозно указала ему кресло возле себя.

— Извините, ваше высочество, — начал Бирон, — я слишком рано к вам сегодня. Но, ведь, день столько же часов имеет теперь, как и всегда, а дел у меня с каждым днем прибывает. Через час я должен быть в чрезвычай-

ном собрании кабинет-министров. Затем до позднего вечера каждая минута у меня разобрана... только поэтому и решился к вам захватить так рано.

Она с изумлением его слушала и глядела на него. Совсем не такого приступа к разговору ожидала она.

— Какое дело привело вас ко мне, герцог — спросила, наконец, цесаревна, слабо и неопределенно улыбнувшись.

— Не дело, — ответил Бирон, — и если в этом вопросе вашем — упрек мне, что не посвятил вас до сих пор, то сознаю себя заслуживающим этот упрек и прошу у вас прощения. Я не по делу, а именно потому, что давно уж собирался...

Елизавета удивлялась все больше и больше.

— Но, если вы непременно хотите дела, — продолжал Бирон, — то, пожалуй, вот и дело есть. Знаете, ваше высочество, что, ведь, я, по настоящему, должен считать вас своим врагом. Скажите мне: вы недовольны тем, что я выбран регентом? Вы недовольны завещанием императрицы? Вы находите, что импера-

тор Иоанн III имеет меньше права на престол Российский, чем вы?

Он говорил это тихо, не раздражаясь, и внимательно смотрел на Елизавету.

«А! Вот и начало!» — подумала она. У нее шибко забилося сердце, кровь бросилась в лицо, потом отхлынула.

Она побледнела, но сделала над собой усилие и заговорила спокойным голосом:

— Что за вопросы? Неужели во все эти 10 лет вы не могли узнать меня? Неужели вы до сих пор думаете, что я мечтаю о престоле и что он мне нужен? Кажется, я все делала, чтобы разубедить вас. Неужели нельзя жить спокойно? Неужели такая уж приманка для меня престол этот? Ведь, вот вы теперь управляете государством и жалуетесь мне, что дни коротки... А я ленива, герцог, и уж не так молода, чтобы отвыкать от своей простой и спокойной жизни...

— Однако, вы в самом деле, кажется, за серьезное приняли мои вопросы! — улыбнулся Бирон. — Не беспокойтесь, ваше высочество, я вас знаю и именно хочу доказать, что не обращаю ни малейшего внимания на то, в чем

меня иногда хотят уверить. Я не подозреваю вас, смотрите...

Он вынул из кармана пакет с бумагами.

— Проглядите это, — продолжая улыбаться, сказал он и протянул пакет Елизавете.

Она взяла, развернула бумаги и увидела, что это копии с показаний капрала Хлопова, Толстого и других, схваченных по обвинению в желании возвести на престол цесаревну. У нее невольно дрогнули руки, когда она проглядывала эти бумаги.

Она знала, что эти признания даны под страхом смерти, даны во время истязаний в тайной канцелярии.

— Я не знаю этих людей, я никогда их не видала! — окончив чтение, сказала цесаревна и слезы слышались в ее голосе.

— Уверен, что вы их не знаете, — медленно произнес Бирон. — Чего же вы так волнуетесь?

— А вы бы хотели, чтоб я не волновалась, узнавая о мучениях людей, которые, не зная меня, мне преданы и из-за меня подвергаются этим мучениям? Послушайте, герцог, если вы уверены во мне, как говорите это, то должны

понимать, что эти люди не могут быть никому опасны. Что же видно из всех их признаков, и наверное здесь еще сказано даже больше, чем было на самом деле, что же видно? Одни только слова. Эти люди не опасны, пожалейте их...

Она взглянула на него умоляющими глазами, она говорила волнуясь, тяжело дыша, и совершенно забывая, что это волнение может показаться подозрительным Бирону, что, глядя на нее, он может заподозрить ее участие в заговоре.

Он внимательно смотрел на нее и вдруг улыбнулся.

— Я и так пожалел их ради вас.

— Вы не казните их, нет? Что вы с ними сделаете? Скажите ради Бога! — даже поднялась она со своего места.

— Я не казню их, — опять медленно и продолжая улыбаться, сказал регент, — я только удалю их отсюда.

— Правда? Вы мне обещаетесь, как пред Богом?

— Обещаюсь.

Елизавета протянула ему руку, которую он

почтительно и нежно поцеловал.

Наконец, цесаревна несколько поуспокоилась и могла снова рассуждать хладнокровно.

Первая пришедшая ей мысль была: что же все это значит? С чего такая любезность? Нет-ли тут какой ловушки? Она и прежде, давно, особенно в последние годы царствования Анны Ивановны, ничего не видала от Бирона, кроме любезностей. Одно время при дворе даже замечали, что он просто-напросто ухаживает за ней. Толковали о том, что он в нее влюбился.

Отчасти это была правда: цесаревна, действительно, производила на него сильное впечатление! Он разделял общую участь всех людей, знавших ее.

Появляясь на придворных балах, она всегда была там первою красавицей. Кому она раз ласково улыбнулась, кому сказала приветливое слово, тот уж никогда не мог забыть этой минуты.

А ласковых улыбок и приветливых слов выпало не мало на долю Бирона.

Елизавета, поставленная в необходимость

хитрить и лукавить, поневоле чувствовала себя обязанной быть как можно более любезной с таким всесильным человеком, как Бирон. Она знала, что захочет он, и настанет конец ее тихой жизни. Она знала, что ему ничего не будет стоить уговорить императрицу, и тогда с ней не поцеремонятся. И вот она только всеми силами старалась избегать встречи с ним, но, когда встречалась, не отказывала ему в своей улыбке и любезном слове.

«Что ж это он в самом деле? — думала она теперь. — Неужели точно за мной ухаживать приехал? Неужели дошел до того, что станет изъясняться в любви своей... он — Бирон!»

Снова краска негодования залила ее щеки. И она в этом негодовании и в своих мыслях даже не слышала, что говорит он. А он говорил, на что-то жаловался...

Наконец, она вслушивается, он, действительно, жалуется, плачется на свое положение, на то, что никто не хочет понять его, что все замышляют теперь как бы его погубить, что у него враги есть лютые, принц и принцесса брауншвейгские...

— Часу спокойно не дадут вздохнуть,

принцесса! — грустным голосом говорит Бирон. — И не на кого положиться, не с кем отвести душу. Оттого вот к вам и приехал, откровенно поговорить захотелось. Может быть, хоть вы то меня немножко пожалеете...

«Так и есть! — мелькнуло в голове Елизаветы. — Вот сейчас начнется в любви признание!»

— И что же они воображают, что так уж сладко мне мое регентство! — каким-то даже патетическим голосом и ударив себя рукою в грудь, говорил Бирон. — Они ошибаются. Что, кроме мучений, всяких забот, опасностей приносит мне оно? Если я его принял, то никак не для себя, а для государства. Ну что ж, ну я откажусь, кто ж тогда всем управлять будет? Принц Антон, принцесса Анна? Хороши правители!.. Да и сам император, мало того, что новорожденный, мало того, что можно двадцать раз погубить все государство, пока он вырастет, ведь, ко всему, и надежда на него плохая, может, слышали, какой ребенок? Совсем нездоровый ребенок, того и жди скончается. Вот вы говорите, что никогда у вас мысли не было о престоле, жизнь свою по-

койную больше любите, а напрасно это. Я был бы очень счастлив видеть вас на престоле.

«Вот она и ловушка!» — подумала Елизавета.

— Мне кажется, — твердо и решительно сказала она, глядя прямо в глаза Бирону, — мне кажется, если бы вся Россия просила меня, я и тогда бы отказалась.

Ей почудилось будто в это мгновение улыбка скользнула на губах Бирона, но, во всяком случае, тотчас же от этой улыбки и следа не осталось. Он заговорил опять самым горячим и искренним, по-видимому, тоном.

— Да, я вас понимаю, принцесса, вы совершенно правы, но надо же вам подумать о будущем государства, надо же добиться того, чтоб престол Российский перешел к достойному избраннику. Разве только один и есть новорожденный Иоанн Антонович? Что ж они думают, брауншвейгские, что все мы позабыли о голштинском принце Петре, вашем племяннике? Он уж вырос, и как слышал я и знаю из верного источника, юноша здоровый и достойный.

«Вторая ловушка!» — подумала Елизавета,

но ничего не ответила Бирону и слушала, что дальше говорить он будет.

— Что же они думают, — продолжал регент, — у них, что ли я буду спрашиваться? Вот посоветуемся с вами да и пошлем письмоцо принцу Петру. Думаю, что и вы будете рады видеть племянника, ваше высочество..

Он, улыбаясь, глядел на нее. Она хорошо знала, что этот племянник — сын дорогой, любимой сестры ее, Анны Петровны, был привидением во все время царствования покойной императрицы, что Анна Ивановна и Бирон не иначе называли его, как «голштинским чертушкой». А теперь к этому чертушке Бирон вдруг письмоцо задумывает!

«Ну, что ж теперь делать? Как отвечать ему? Сказать, что не хочет видеть племянника — это будет неестественно, да и он этому, все равно, не поверит. Согласиться на это письмоцо — выйдет оно уликой против нее»... Она молчала.

— Что ж, принцесса, — опять ласково взглянул на нее регент, — не хотите разве приезда племянника?

— Приезда племянника, конечно, хочу, —

ответила Елизавета, — и если вы заставите его приехать, он может быть уверен, что я порадоюсь встрече с ним; но сама я писать не стану — я, герцог, ни в какие дела не вмешиваюсь.

— О, как вы недоверчивы! — покачал головою Бирон. — Вы в самом деле думаете, что я недругом к вам явился, напрасно! Искренно и говорю с вами. Право, нам нужно теперь быть ближе друг к другу — и мы будем близко, потому что оба заботимся о благе России...

«Боже мой! Это он-то заботится о благе России», — в негодовании думала она, но молчала.

— Да, нам нужно быть вместе, — повторил он. — Я серьезно помышляю о принце Петре, я знаю, что утвердив его здесь, спокойно могу отказаться от этого тяжелого бремени регентства. Но тут вопрос еще и другой, следует и о вас подумать.

— Что ж обо мне-то думать? — пожала плечами Елизавета. — Только оставьте меня жить так, как я живу: я ничего не прошу, ничего не добиваюсь...

— Вы хотите сказать, что совершенно до-

вольны своей жизнью, но позвольте мне не совсем поверить вам, принцесса. Я не могу представить себе вас всегда одинокою. Вы еще так молоды...

— Я не молода, — перебила она тихо.

— Вы так прекрасны. Я знаю, как упорно всегда вы отказывали женихам, но я осмеливаюсь все же явиться к вам сватом.

Елизавета широко открыла на него глаза.

«Это еще что такое? Кого ж он мне будет сватать, себя, что ли, от живой жены? Или, может быть, дошел до того, что развод задумал со старухой?!»

— Не сватайте мне никого, герцог. Кажется, я уж говорила вам, что решила никогда не выходить замуж, да теперь, пожалуй, что и поздно, не для чего... проживу и так.

— Решайте, как знаете, а я должен исполнить свою обязанность.

— Кто же этот новый жених мой?

— Видите ли, есть один молодой человек, — шутливым тоном, но все же с некоторым смущеньем заговорил Бирон, — и этот молодой человек давно уж страдает по вас. Он искренно любит вас, принцесса, и был бы

бесконечно счастлив, если бы вы благосклонно приняли любовь его, сделали бы честь, отдав ему свою руку.

Бирон встал и низко поклонился Елизавете.

— Не откажите, прошу за своего сына Петра!

Елизавета побледнела. Она хотела говорить, но язык ее не слушался. Она до глубины души была возмущена этим предложением. Сын Бирона, шестнадцатилетний мальчик — ее муж, сын Бирона, тот самый, которого чуть ли не с колыбели отец безуспешно сватал за Анну Леопольдовну!

Так вот чем все разрешилось! Вот объяснение этого визита. Что теперь делать? Сейчас отказать, он никогда не простит этого и все сделает, чтоб погубить ее. А, между тем, он стоит и ждет ответа, он стоит с наклоненной головою и ждет.

— Герцог, — наконец начала она, — я так изумлена вашим предложением, оно так неожиданно, что я ровно ничего не могу сказать.

— Разве вы никогда не замечали чувства

моего сына? — спросил вдруг Бирон.

Она едва совладала с собой.

«Какой глупый, какой низкий вопрос!»

— Я никогда ничего не замечала... я не могла даже себе представить, чтоб такой юноша, как ваш сын, мог обращать внимание на какую — либо женщину...

— Правда... мой сын еще юноша, но это ровно ничего не значит, его чувство к вам глубоко, искренно... да и, наконец, разве в нашем положении можно заботиться о разнице лет?.. Я знаю и ценю ваш ум, принцесса, я знаю, уверен, что вы на все взглянете настоящими глазами... Что же, позвольте надеяться?..

— Ради Бога, не спрашивайте меня, я вам говорю, вы так меня поразили, я никак не ожидала ничего подобного...

Она взглянула на него и ясно увидела, что с ним шутить невозможно, что откажи она ему теперь, когда у него в руках такая сила, он не задумается так или иначе погубить ее. И ей безумно, страстно захотелось отказать ему, посмеяться над ним, показать ему, наконец, как низко она его ставит, выразить, что

она оскорблена этим предложением, что сын его, этого вчерашнего герцога Курляндского, этого конюшего из Митавы, ей не пара. Но не потому не пара, что он сын бывшего конюшего, об этом она никогда не думала, даже не потому, пожалуй, что он совсем почти ребенок, а потому что он сын Бирона, врага России, врага всего, что ей дорого.

Но благоразумие заставило ее снова совладать с собою.

Она вспомнила, что должна удержаться именно ради всего, что ей дорого, должна побороть свои чувства не для себя. И она, опустив глаза, прошептала:

— Я ничего не имею против вашего сына, он хороший юноша. Но, ведь, я уж не молоденькая девочка, чтоб так скоро решиться, и, тем более, вы знаете мое отвращение от мысли о замужестве. Я вам не отказываю, но прошу только: дайте мне время хорошенько подумать.

— Подумайте, принцесса, — сказал Бирон, — да, действительно, тут нужно хорошенько подумать. И, я надеюсь, что при уме вашем и при вашем благоразумии, вы, дей-

ствительно, хорошо подумаете. Вы увидите тогда, что нам очень надо быть вместе и что мы отлично можем уничтожить всех наших злодеев, если будем действовать дружно. Вы видите теперь, что я не враг вам, что я пришел говорить по душе, искренно. Вы видите, что я ничего дурного не замышляю против вас. Я пришел звать вас в союзницы для общего блага... И вот, когда хорошо вы подумаете, то поймете, какая сила мы будем, если вы не откажете моему сыну, если принц Петр голштинский сюда явится и, кто знает, может быть ему приглянется моя дочь...

«Вот, что он задумал! Ловко! Да, видно, точно нужно действовать скорее и решительнее. Ждать опасно!» — думала Елизавета.

А герцог уж прощался.

— Мне пора в собрание, давно пора. Так я могу уехать от вас с надеждою?

— Да, я очень благодарна вам, — проговорила цесаревна, протягивая ему на прощанье руку.

Еще ни разу в жизни не приходилось ей так солгать, как теперь, еще никогда не видала ее в таком раздраженном состоянии Мавра

Шепелева, как по отъезде герцога Курляндского.

VI

От Елизаветы Бирон, действительно, отправился в чрезвычайное собрание кабинет-министров, сенаторов и генералитета.

Там все были уж в сборе, хотя многие не знали еще, зачем, собственно, призваны на этот день герцогом.

«Что он будет делать? Каков-то войдет?» — думали иные.

Еще вчера видели его в самом раздраженно состоянии. Он ни от кого не скрывал своего бешенства. Но теперь он вошел с спокойным лицом, любезно раскланялся на все стороны, перекинулся дружескими фразами с некоторыми сановниками и спокойно уселся в свое высокое кресло.

По обеим сторонам его поместились: Остерман, Миних, Черкасский и Бестужев. Несколько поодаль сидел генерал Ушаков, начальник тайной канцелярии.

— А его высочества еще нет? — спросил Бирон.

Но не успели ответить, как дверь раство-

рилась и на пороге залы показалась маленькая, худенькая фигура принца Антона. Он входил с бледным, перепуганным лицом и робко озибался во все стороны.

Когда он получил рано утром приказание явиться в это заседание, то с ним чуть дурно не сделалось. Он знал, что должен будет разыгрывать здесь роль подсудимого, что будет окружен врагами.

Он так трусил, что даже решился было вообще не отправиться, остаться и лучше уж у себя выслушать приговор.

Анна Леопольдовна едва уговорила его не делать этого: не срамить себя таким малодушием.

Он неловко, то краснея, то бледнея, поклонился собранию: как-то боком сел на оставленное для него место и опустил глаза, не смея ни на кого поднять их, и пуще всего боясь встретиться со взглядом Бирона.

Он чувствовал, что все на него пристально смотрят и еще больше терялся, бледнел и краснел от этого сознания.

На него, действительно, все смотрели, и от него переводили взгляды на лицо регента.

Бирон молчал. Он, очевидно, наслаждался смущением своего противника и хотел по-дольше потомить его, помучить.

Так прошло около четверти часа. Все молчали, ожидая первого слова регента, и только некоторые передавали друг другу шепотом и сейчас же принимали опять строгий вид и внушительно откашливались.

Среди царствовавшего в зале молчания можно было, однако, расслышать странные, совсем не подходящие к этой минуте звуки. Кто-то по временам стонал, тяжело охал и даже слегка вскрикивал.

Этот кто-то был граф Остерман.

Он весь ушел в свое кресло, так что из-за стола было видно одно только его бледное, толстое лицо, да и то нижняя часть этого лица, так как верхнюю прикрывал зеленый зонтик.

Великий Остерман, — неизменная, живая душа государственного управления, в последние годы объявил себя безнадежно и тяжело больным. По целым месяцам он сидел в своем кабинете, и когда ему необходимо было появиться на каком-нибудь чрезвычайном и

важном заседании, то его туда переносили, и он, с первой и до последней минуты, обыкновенно, стонал и охал, не снимал со своих глаз зеленого зонтика.

Многие внимательные и насмешливые люди того времени говорили, что этот зонтик очень удобная штука. Из-под него можно гораздо лучше и безопаснее наблюдать окружающих, а самому не поддаваться никаким наблюдениям.

Этот таинственный зонтик, эта вечная агония, издавна служили Остерману верную службу.

Стеная и охая, и представляя из себя жалкую карикатуру, он обделывал смелые, большие дела, достигал своих хитро-задуманных целей, а в опасные минуты стушевывался и скрывался, и никто ничего не спрашивал с больного, умирающего человека.

Теперь он стонал и кряхтел с особенным удовольствием и даже не замечал действительной мучительной ломоты в ногах. Он знал, что заседание будет интересно, что принц Антон должен сыграть комическую сцену, а Андрей Иванович очень любил коми-

ческие сцены, если сам не мог быть в них безопасным зрителем.

— Ох, — простонал он, обращаясь к сидевшему рядом с ним фельдмаршалу Миниху, — плохо я вижу, но, мне кажется, что его высочество принц сегодня дурно себя чувствует. У него такое слабое здоровье, вы, граф, плохо укрепили его в ваших походах.

Миних ничего не ответил. Он давно уже пристально глядел на принца Антона и думал.

Он думал о том, что если бы бедный принц знал его теперешние мысли, то, может быть, несколько бы ободрился и не глядел таким испуганным зверьком, не дрожал бы так под взглядом Бирона. Но он ни звуком, ни взглядом не ободрил принца.

На его старом, сухом, красивом лице никто не мог прочесть его мыслей.

Наконец, Бирон прервал тяжелое, долгое молчание.

— Господа кабинет-министры, сенаторы, генералы, — обратился он к собранию на своем ломаном невозможном русском языке, — мы просили вас собраться для того, чтобы вы-

яснить одно очень важное дело. Но, прежде всего, нужно кое с чем вас познакомить. Генерал, — обратился он к Ушакову, — прочтите показания, сделанные в тайной канцелярии.

Страшный генерал Ушаков, сидевший до тех пор неподвижно, пошевелился на своем месте, откашлянулся и развернул лежавшие перед ним бумаги.

Теперь взоры всех обратились уж окончательно в сторону принца.

Антон брауншвейгский побледнел еще больше, его губы тряслись, зубы стучали. Он знал, какие бумаги разбирает и приготовляется читать Ушаков.

Ушаков начал.

Это были признания приверженцев брауншвейгской фамилии, это было показание Граматина.

Ушаков читал медленно, слово за словом, и все внимательно слушали, и никто даже не нашел комичным слог Граматина, который на каждом шагу бессмысленно повторял: «он мне сказал, я ему сказал».

У принца Антона уж голова кружилась. Он не слышал ни одного слова. Ему казалось, что

все это собрание, все эти обращенные к нему лица качаются из стороны в сторону, начинают какую-то страшную, дикую пляску.

Лицо Ушакова, с длинными седыми усами, иссиня-красноватым носом и опущенными теперь на бумагу глазами, казалось ему таким огромным, ужасным; это было лицо карающей Немезиды.

На Бирона принц ни разу не решался даже и взглянуть. Он знал, что если взглянет, так уж ни за что не вытерпит.

Ему хотелось убежать отсюда или скрыться куда-нибудь под стол, но он не мог даже шевельнуться.

Наконец, все мысли остановились в голове его. Он продолжал слушать, ничего не понимая, только каждое слово, произносимое густым басом Ушакова, больно отдавалось в голове.

Но вот чтение окончено.

— Ваше высочество, — обратился к принцу регент. — Вы слышали? Потрудитесь же сказать нам: правда ли все это или здесь клевета? И если клевета, то опровергните ее.

Принц Антон молчал.

— Ваше высочество, я не знаю, чем вы недовольны. Я, кажется, делаю все, что могу; вот вам назначено двести тысяч рублей в год, тогда как цесаревна будет получать всего только пятьдесят тысяч. Мы всегда, кроме того, были готовы исполнить всякое ваше желание, а вы недовольны. Скажите мне, наконец, — тут голос регента, сначала тихий и даже довольно мягкий, зазвучал сильнейшим раздражением. — Скажите мне: чего бы вы хотели? Что вам угодно?

Принц продолжал молчать.

— Прошу вас, говорите, молчать невозможно теперь: мы все ожидаем от вас ответа!

Принц Антон хотел было подняться со своего места, но сейчас же опять и упал в кресло и, совершенно бессильный, помимо своей воли и неожиданно для себя самого, произнес прерывающимся голосом:

— Я хотел произвести бунт и завладеть регентством.

Крупные слезы показались на глазах его и он еще ниже опустил голову.

Тогда генерал Ушаков обратился к нему и начал громким, резким голосом:

— Если вы, ваше высочество, будете вести себя как следует, то все станут почитать вас отцом императора; в противном же случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. Конечно, вы были обмануты по вашей молодости и неопытности, но если бы точно вам удалось исполнить свое намерение и нарушить спокойствие империи, то я, хоть и с крайним прискорбием, а обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величества.

Если бы несчастного принца Антона можно было теперь испугать, то, наверное, эта неожиданная и резкая выходка Ушакова заставила бы его вздрогнуть всем телом. Но он был так уже смущен и перепуган, что ничто больше не могло производить на него впечатления. Он даже почти не обратил внимания на слова Ушакова и ничего ему не ответил.

Тогда заговорил Бирон в сильном волнении, но тщательно скрывая свое раздражение.

— Да и на каком основании низвергать вы меня вздумали? Что ж я самовольно разве похитил власть? Если я регент, то по распоряже-

нию покойной императрицы, по согласию всех здесь присутствующих. Я не воровски занимаю свое место. Но что ж, я имею, конечно, право отказаться от регенства, как то и значится в уставе, и если это собрание сочтет ваше высочество больше меня способным к управлению империей, я сейчас же передам вам правление.

Он замолчал и обвел всех быстрым взглядом. Его щеки несколько побледнели: «а, вдруг!..» — мелькнуло в голове его, «но, нет, не посмеют», — сейчас же он себя успокоил. И точно, не посмели.

Раздался голос Бестужева.

Этот голос подхватили многие.

— Нет, как можно! Вы вполне достойны. Мы просим вас оставаться регентом для блага земли русской.

Бирон с нескрываемым самодовольством взглянул на принца Антона, а затем приподнял со стола лежавшее перед ним распоряжение императрицы Анны о регентстве и, указывая на него Остерману, сказал:

— Та ли это бумага, которую вы сами принесли к императрице для подписи?

— Да, та самая, — с легким стоном ответил Андрей Иванович.

— В таком случае, я не желаю, чтоб могла повториться подобная сцена. Если вы все, действительно, признаете законность этого документа, если вы, действительно, желаете видеть меня во главе правления, то я прошу вас, всех здесь присутствующих, подписать эту бумагу и приложить свои печати.

Невольню как бы электрическое движение пробежало по собранию.

Много здесь было людей, которые Бог знает что дали бы, чтоб иметь возможность не подписывать.

Но подписал Остерман, подписал Миних, подписал Бестужев, Черкасский, Ушаков: не подписать невозможно. И бумага переходила из рук в руки, и все ее подписывали. Дошла очередь и до принца Антона.

Дрожащей рукой окунул он перо в чернильницу и начертил на бумаге свое имя.

Бирон вздохнул полной грудью. Еще собирая это заседание, еще в первые его минуты, он в глубине души своей трепетал за исполнение своего плана. Несмотря на все свое лег-

комыслие и близорукость, он очень хорошо знал, как мало можно надеяться на людей. Он знал, что эти люди, за минуту перед тем до земли ему кланявшиеся, могли вдруг восстать против него и погубить. Он знал, что, может быть, стоило только раздаться двум-трем влиятельным голосам, и все без исключения подхватят эти голоса, и он погибнет. Но смелых голосов не нашлось. Кабинет-министры сочли для себя выгодным не изменять ему, и все остальное стадо, конечно, пошло за своими пастырями.

И вот вчерашних тревог и волнений как не бывало.

Герцог Курляндский, снова почувствовав под собою твердую почву, мгновенно преобразился. Он уже сидел в своем кресле гордый и надменный, с презрительно сжатыми губами.

— Теперь, ваше высочество, — обратился он к принцу Антону — мы вас не задерживаем, вы свободны. А так как мне кажется по вашему виду, что вам нынче нездоровится, то можете оставить залу и вернуться домой. Советую вам обратиться к доктору и полечить-

ся.

Бедный принц медленно поднялся со своего места, неловко откланялся собранию и поспешил удалиться.

Выйдя из залы и видя, что никто его не арестует, что лакеи почтительно отворяют ему двери, он тоже вздохнул свободнее. Он ожидал гораздо худшего.

«Авось, теперь уж не будут больше мучить, авось, теперь отделался?!» — думал он... и ошибался.

Бирону было мало — заручиться подписями сановников, ему нужно было добить врага окончательно, отрезать ему путь сообщения с гвардией. Недаром, при последнем своем посещении Зимнего дворца, он кричал: «вы на ваш семеновский полк рассчитываете!» Он теперь порешил, что от принца Антона должно отобрать его звание, его военные чины подполковника семеновского полка и полковника кирасирского брауншвейгского полка. Нельзя успокоиться, покуда в его руках эти должности, покуда он, в качестве начальника, может действовать на войско.

Отпустив членов заседания, Бирон удерж-

жал Миниха и сказал ему, что следует написать от имени принца Антона просьбу об увольнении его от всех военных должностей.

Фельдмаршал Миних, хоть и очень задумывался в последние дни насчет брауншвейгских, хоть тайная его мысль и могла успокоить принца Антона, все же согласился подслужиться регенту. Унизить принца даже было в его видах, лишь бы только не унизить принцессу. Она ему нужна, а сам принц Антон только мешает. Его можно терпеть единственно в качестве неизбежного зла и, следовательно, во всяком случае, нужно, по возможности, уменьшить это зло.

Таким образом, в тот же день просьба была готова. Написал ее не сам фельдмаршал, а поручил это дело своему сыну, и немедленно же доставил ее Бирону.

— Только если отошлете вы эту просьбу графу Остерману, то прошу вас, ваша светлость, велеть переписать ее: я не хочу, чтоб Остерман видел почерк моего сына. Он догадается, что все это дело идет через меня, а это не только бесполезно, но и вредно может быть.

— Хорошо, хорошо, велю переписать, — ответил Бирон.

В просьбе принца Антона, якобы обращаемой им к своему сыну, новорожденному императору, говорилось:

«Я ныне, по вступлении Вашего Императорского Величества на Всероссийский Престол, желание имею мои военные чины низложить для того, чтобы при Вашем Императорском Величестве всегда неотлучно быть».

Бедный принц Антон очень изумился, когда ему принесли для подписания эту бумагу и он прочел ее. Он в первый раз узнал себя таким нежным, заботливым отцом.

Ему было чрезвычайно жалко отказаться от семеновского и кирасирского полков, но Анна Леопольдовна вышла из себя, узнав, что он не хочет подписывать бумагу.

— Что ж это вы, в самом деле, погубить нас думаете?! — кричала она. — Неужели еще надо вам растолковывать, что если вы не подпишите, так тут нам и конец, вас непременно вышлют из России: или хуже, засадят в какую-нибудь крепость? Да это еще ничего: может быть там вы бы одумались, а, ведь, на вас

то не останутся, ведь, и меня погубят, и сына нашего погубят. Сейчас подписывать, сейчас!

Она вложила ему в руку перо, и он подписал это заявление о своих нежных родительских чувствах.

Через несколько дней военной коллегии дан был указ, в котором говорилось:

«Понеже его высочество, любезнейший наш родитель желание свое объявил имевшиеся у него военные чины с низложить, а мы ему в том отказать не могли, того ради, через сие военной коллегии объявляем для известия. Именем Его Императорского Величества, Иоганн, регент и герцог».

При дворе рассказывали, что принцесса Анна Леопольдовна, заставив мужа подписать прошение, сейчас же отправилась к Бирону, объявила о своем поступке, уверила его, что отлично понимает свое положение и всеми силами негодует на действия мужа. Она даже бросилась на шею герцогу. Умоляла его не давать гласности неразумным делам принца Антона и обещала сама неотступно присматривать за ним. И она стала присматри-

вать.

Принц Антон очутился как бы под домашним арестом.

Он не мог никуда выходить, его вечно стерегли то жена, то Юлиана Менгден.

Против такого стража, как Юлиана, сначала он ничего не имел, даже рад был раскрыть ей свою душу и плакаться на свои несчастья. Она внимательно и участливо его слушала, но все же он, наконец, с глубоким сожалением, должен был сознаться самому себе, что она больше страж, нежели друг его.

VII

Бирон торжествовал. Как еще несколько дней тому назад он упал духом и считал себя чуть не на краю гибели, так теперь он совершенно убедился, что эта гибель миновала, что для него нет ровно никакой опасности, что стоит он твердо и может снова делать все, что угодно.

В этой уверенности его поддерживал и Бестужев.

— Ну, так внушайте же все это кому следует, — сказал Бирон Бестужеву после долгого с ним разговора. — В особенности иностран-

ным резидентам внушайте, что никакого волнения больше нет, что мне некого опасаться, что никто не стоит у меня поперек дороги.

Бестужев поспешил исполнить это. Он говорил многим, что если б захотели, могли бы поступить с принцем вовсе не так милосердно; хоть он и отец императора, но вместе с тем и его подданный. «Петр, — говорил он, — подал пример, что имеет право сделать отец с бунтующимся сыном. То же самое, наоборот, может сделать и сын с бунтующимся отцом, своим подданным. Принц Антон до сих пор рассчитывал на венский двор, но теперь он увидел, что этой опоры для него не существует. Мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, но, вообще, можем сказать, что дело наше выиграно».

С некоторыми нужными людьми Бестужев пускался и в дальнейшие откровенности. Он говорил, что рисковал своей головой и не имел ни одной минуты спокойной в первые три дня после кончины императрицы, так как знал свойства русского народа. По первому толчку этот народ в состоянии принять

что-нибудь решительное, но потом, только прошла первая минута, делается совершенно апатичным и послушным. Таким образом, в деле признания Бирона регентом нужно было пустить в ход необыкновенную быстроту. Для этого, еще при жизни императрицы, Бестужев и изготовил манифест о регенстве, его напечатали в ночь смерти императрицы, вместе с присяжного формою. Приводить к присяге должно быть тотчас же, не дожидаясь того, чтобы какие-нибудь беспутные головы успели что-либо затеять. Важные и страшные были минуты, событие великое. Петербург населен обильно, так что нечего удивляться, если нашлось несколько недовольных, странно только, что не оказалось их гораздо больше. Но вот теперь все успокоено, цель достигнута, будущее обеспечено. «Теперь, — заканчивал Бестужев свою исповедь, — остается делать одно, щедро награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в ком будет замечено дурное направление».

Бестужев мог говорить все, что ему угодно, мог успокаивать и себя, и Бирона, и всех, кого ему нужно было успокоить, но все же всякий

разумный и наблюдательный человек хорошо видел и понимал, что положение регента далеко не прочно.

Что такое было открыто? Вовсе не серьезный заговор, а просто неосторожные слова некоторых молодых солдат и офицеров, которые в первом пылу негодования не удержались, не дождались удобного случая, не рассмотрели себе надежного вожака.

Но наблюдательные люди, прислушивавшиеся к общественному настроению, ясно видели, что пройдет еще немного времени, соберется серьезная и осторожная партия, найдет-ся ей способный решительный вожак и — следует ожидать очень важных событий.

Конечно, из лиц, близко стоявших к герцогу Курляндскому, были такие, которые это понимали, но ни один человек не нашел нужным предостеречь регента, обратить его внимание на некоторые знаменательные факты, и он оставался в сладкой уверенности, что победил своих врагов и очистил себе широкую дорогу.

Давно уж он не был в таком счастливом настроении духа. Он только негодовал на се-

бя за то, как мог допустить в себе такую слабость, смутиться, испугаться. Ему хотелось окончательно позабыть о днях этой слабости, наглядно доказать самому себе, на какой недостижимой высоте стоит он и как твердо его положение. Он хотел показать это, конечно, и иностранным резидентам для того, чтобы при дворах Европы утвердилось настоящее и должное о нем мнение.

Как же это сделать? Есть один способ показать себя в полном блеске, это собрать у себя во дворце всех сановников, принца и принцессу брауншвейгских, цесаревну Елизавету, унизить брауншвейгских публично.

Но теперь сделать это было трудно; нельзя же давать бал, когда чуть ли что не вчера предана земле императрица.

«Ну, бал, не бал, а собрать всех все же можно!» — решил, наконец, Бирон и стал рассылать всем приглашения в такой форме, что каждый не знал, зачем его приглашают, и, во всяком случае, не ожидал найти во дворце регента большого собрания.

Вечером 5 ноября все покои Летнего дворца осветились. Впрочем, освещение было не

яркое, да и вообще все было так устроено, что дворец вовсе не имел праздничного вида. Многочисленная прислуга была в глубочайшем трауре. Всем было приказано говорить как можно тише и шуметь как можно меньше.

Скоро стали съезжаться приглашенные. Приехал и принц Антон с Анной Леопольдовной, и Юлиана Менгден, и цесаревна, приехали кабинет-министры, за исключением Остермана (он лежал, запершись, в своей комнате); приехали посланники.

Некоторые гости с изумлением поглядывали друг на друга, не понимая, что такое затеял Бирон, и ожидая, что в этот вечер должно, во всяком случае, произойти нечто особенное. Другие же сразу догадались о желании Бирона просто-напросто поломаться и похвастаться.

Гости проходили целым рядом комнат, не встречая хозяина и хозяйки.

В эти последние тревожные дни всех захватила как бы новая жизнь, всем казалось, что прежняя жизнь прошла безвозвратно, что со смертью императрицы Анны заканчи-

лось все старое.

Но этот Летний дворец, эти комнаты и вся обстановка разом вернули всех в прежнюю атмосферу. Здесь, во дворце герцога Курляндского, только императрицы Анны не было, а все, что ее окружало в последние годы, осталось неизменно. Те же шуты и шутихи, карлы и карлицы встречали гостей и чопорно им раскланивались, та же «девка Софья» и девка турчанка Катерина в своих фантастических, но теперь траурных костюмах, шмыгали по комнатам и куда-то исчезали.

Наконец, и в приемной герцогини не было ни малейшей перемены.

Она, как во все торжественные дни, с тех пор как Бирон был провозглашен герцогом Курляндским, сидела на своем высоком кресле или, вернее, троне.

Это была далеко уж немолодая, некрасивая и болезненная женщина с желтым осунувшимся лицом и бледными глазами без всякого выражения. Если про Бирона толковали, что он с лошадьми обращается как человек, а с людьми как лошадь, то про жену его Бенитну Готлиб, урожденную фон Тротта-Трейден,

можно было придумать много и более обидное.

Императрица Анна любила ее единственно за преданность и глупость.

Бенитна рабски подчинялась всем требованиям и капризам герцогини Курляндской и в 1723 г. вышла замуж за Бирона для того, чтобы прикрыть собою его отношения к герцогине. С тех пор она сделалась неразлучной спутницей Анны Ивановны, при восшествии на престол которой была пожалована статс-дамой.

Анна Ивановна все свое время обыкновенно проводила в семействе Бирона, вместе с ними обедала.

Вследствие такой близости к царствующей государыне Бенитна Готлиб давно уж считала себя владетельной особой, а когда наконец, превратилась в герцогиню Курляндскую, то ее тщеславию и гордости и границ не было. Она поражала всех своею роскошью, бестактностью и дурными манерами.

Много всяких анекдотов ходило на ее счет при дворе, но, конечно, эти анекдоты скрывались со всевозможною тщательностью и лю-

ди, тихомолком смеявшиеся над герцогиней, в ее присутствии падали ниц перед нею.

Теперь герцогиня, супруга регента, конечно, считала себя уж окончательно превыше всех смертных. Она величественно восседала на своем троне и хотя была одета в черное траурное платье, все же не могла отказать себе в удовольствии блеснуть бриллиантами. Ее голова, шея и руки так и блестели, так и переливались всевозможными огнями. Каждый из входивших гостей почтительно подходил к ее трону. Она не шевелилась, а гости должны были, осторожно склоняясь, целовать ее руки, — да, руки; а не руку, потому что если кто вздумал бы поцеловать одну только руку, то этим оскорбил бы ее смертельно. У нее целовали руку и прежде, а с тех пор как она стала герцогиней — должна же быть какая-нибудь разница — и вот уже несколько лет происходило это целование обеих рук и все подчинялись такому неожиданному нововведению, боясь весьма важных и неприятных последствий.

Теперь, наверное, Бенитна Готлиб, подставляя свои руки гостям, думала о том, что

как же это, ведь, вот она в новом звании супруги регента, значит, целования двух рук мало. Очень может быть, что она мечтала о том времени (а время это должно наступить очень скоро, вот только кончится срок траура), когда перед нею будут склоняться до земли, когда станут прикладываться к башмаку ее.

Рядом с герцогиней, тоже на каком-то особенном, подобающем царственной принцессе сидалище, помещалась ее дочь Гедвига, маленькая, худенькая, четырнадцатилетняя девочка.

Гедвига не наследовала от отца своего его физической красоты, не наследовала и от матери ее глупости.

Девочка эта была немного горбата и вообще плохо сложена. Лицо с чертами неправильными, зато глаза необыкновенно живые и умные.

Несмотря на всю ее некрасивость, она обращала на себя невольное внимание придворных; ее давно уже знали. Ее первое появление в обществе, при дворе, произошло во время празднования свадьбы принцессы Ан-

ны Леопольдовны. Тогда двенадцатилетняя Гедвига отправлялась в придворную церковь в роскошной золоченой карете, окруженная целой свитой. При свадебной церемонии она стояла рядом с императрицей, во время официального придворного обеда сидела рядом с новобрачной, а вечером на балу управляла танцами.

С первых лет детства к ней были приставлены всевозможные учителя и учительницы, а природные способности дали ей возможность многому научиться. Она знала несколько языков и вообще обладала многими научными сведениями, что было большою редкостью в то время. Манерам и обращению она училась не у матери, и с первого же своего появления обратила на себя всеобщее внимание умением держать себя, своей живостью и остроумием; об ее находчивости, об ее милых ответах и суждениях много говорилось.

В последнее время, несмотря на то, что она была маленькой горбуньей, вокруг нее постоянно вертелась целая толпа поклонников. Ей вечно твердили об ее уме, талантах, о красоте даже. Оригинальная девочка поневоле часто

задумывалась и жила какою-то двойною жизнью — двойною потому, что после льстивых речей, всеобщего почтения и благоговения она уходила в семейную обстановку, где к ней совсем иначе относились.

Отец не любил ее: ему нужна была не такая дочь, ему нужна была дочь действительно красавица, которая своей красотой могла бы способствовать упрочению его положения, которая могла бы стать невестою одного из европейских принцев крови.

Бирон не мог выносить бледного, умного лица Гедвиги, ее горба, и очень часто без всякой видимой причины раздражался на нее, бранил ее, не стесняясь выражений. Впрочем, теперь и на ее счет он успокоился. Он поставил себя в такое положение, когда можно было обойтись и без красоты Гедвиги. Будь она в двадцать раз безобразнее, это не помешает ей сделать самую блестящую партию: мы уже видели, что теперь он прочил ее в жены голштинскому принцу Петру.

В этой же парадной приемной комнате находился и сын регента, Петр, наследный принц Курляндский, подполковник конно-

гвардии, кавалер орденов св. Александра Невского и св. Андрея с бриллиантовой звездой. Ему было всего шестнадцать лет, но он уже умел с полным сознанием своего достоинства носить эту бриллиантовую звезду и важно раскланиваться входившим сановникам.

Это и был тот самый вздыхатель-претендент, от имени которого Бирон явился сватом к цесаревне Елизавете.

Глядя на его важную фигуру и совершенно еще ребяческое лицо, ясным становилось негодование, вызванное в Елизавете предложением Бирона.

Действительно, подобный брак был только смешным безумством, только один Бирон мог этого не заметить. И только один Бирон с его постоянной легкомысленною близорукостью и диким чванством мог поверить тому серьезному тону, которым цесаревна ему ответила.

Наконец, все гости были в сборе; позже всех явились принц Антон и Анна Леопольдовна.

Герцогиня Курляндская едва кивнула головой принцессе, а принц должен был, по при-

меру прочих, поцеловать ее руки.

Вообще все присутствовавшие заметили, что только к одной цесаревне герцогиня отнеслась благосклонно. Величественным и комичным жестом указала ей на кресло возле себя и даже процедила сквозь зубы какую-то незначительную, но любезную фразу.

Вот дамы разместились на почтительном от хозяйки расстоянии; мужчины стояли, переминаясь с ноги на ногу. В приемной царствовало почти полное, натянутое молчание.

Все ждали герцога, и герцог, наконец, вышел. Что за торжественный был его выход!

Еще за несколько минут распахнулись двери, целая фаланга камер-юнкеров и разных чинов двора выстроилась наподобие военного караула.

Войдя в приемную, Бирон сделал общий поклон и в этом поклоне выразилась вся его смешная гордость и напыщенность. Это был такой поклон, которого он даже не позволял себе при императрице Анне.

Его надменное лицо на мгновение озарилось улыбкой только тогда, когда он подошел к Елизавете и протянул ей руку, затем он ска-

зал несколько слов фельдмаршалу Миниху, Бестужеву, а на принца Антона и Анну Леопольдовну не обратил ровно никакого внимания, как будто бы их совсем тут не было.

Анна Леопольдовна сидела как на углях. Теперь она ясно понимала, что и весь-то этот вечер был задуман только для того, чтобы оскорбить ее и ее мужа.

Она обращала безнадежные взоры на своего друга Юлиану. Но Юлиана была далеко от нее и вообще ни в чем не могла помочь ей.

Принц Антон тоже сознавал себя до конца оскорбленным. Он даже забыл о своей робости. Он был возмущен. Он чувствовал находившее на него бешенство. Ему хотелось броситься к Бирону и, просто-напросто, его ударить.

Анна Леопольдовна заметила и поняла его состояние. Она знала, что несмотря на всю свою робость и бесхарактерность, на него находили иногда минуты, когда он делался смелым. Она видела, что пришла теперь именно такая минута и что вот, того гляди, он позволит себе что-нибудь невозможное и вечер кончится ужасным скандалом, может быть

окончательною их гибелью.

От всех этих мыслей бедной принцессе чуть не сделалось дурно.

VIII

Герцогиня Курляндская, наконец, вполне насладились своим величием; все приглашенные были уже в сборе и перецеловали у нее руки. Так как она уже успела показать себя принцессе брауншвейгской, то и решилась покинуть свой трон.

Она медленно приподнялась и поплыла через приемную в другие комнаты.

Гости вышли из неподвижности. Раздались, наконец, громкие фразы; общество несколько оживилось.

Бирон дружелюбно взял под руку Бестужева и прошел с ним в кабинет.

— Ну что, вот видите, как я их сегодня отделал? Не могли же иностранцы этого не заметить! — шепнул он ему дорогой.

Бестужеву хотелось сказать, что очень-то пересаливать все же не следует: неровен час опять, пожалуй, что-нибудь может зацепиться, но он взглянул на самодовольное, так и сиявшее чванством, лицо регента и не сказал

ничего.

Был еще один человек, который внимательно наблюдал теперь за регентом. Этот человек был фельдмаршал Миних.

Он поглядел вслед удалявшимся регенту и Бестужеву и подошел к принцессе Анне Леопольдовне.

Теперь она одна оставалась в приемной вместе с Юлианой.

Она была так взволнована и так слаба, что даже не могла подняться с места. Она с большим трудом удерживала слезы.

— Что с вами, принцесса? — спросил Миних. — Вы, кажется, нездоровы сегодня?!

— Нет, я здорова! — подняла она на него глаза, наполненные слезами. — Я здорова, но разве вы не видели, до чего уже здесь доходят? За что меня оскорбляют? Что я им сделала?

В дверях показалась маленькая Гедвига Бирон. За нею следовали маркиз де-ла-Шетарди, шведский посланник Нолькен, князь Черкасский.

Маркиз что-то, верно, очень любезное и веселое, говорил Гедвиге. Она улыбнулась и от-

шучивалась.

Миних быстро взглянул на Юлиану, показал ей глазами по направлению вошедших, шепнул: «теперь нельзя», и быстро вышел из комнаты.

Он пошел по залам с видом рассеянного и скучающего человека, но в то же время внимательно прислушивался ко всяком разговору.

Фельдмаршал Миних теперь уже был совсем старик, но его высокая, стройная фигура была крепка по-прежнему. Он, очевидно, не мало времени проводил перед зеркалом и желал так же удачно воевать с временем, как воевал с врагами России.

Издавна, возвращаясь ко двору после удачных походов, он любил, чтобы к его репутации храброго воина и знаменитого полководца присоединялась и репутация светского, привлекательного человека.

На придворных балах он постоянно являлся разряженным и раздушенным, приглашал на танцы самых красивых дам, ухаживал, любил целовать хорошенькие ручки и говорить комплименты. Его лицо при этом, расплыва-

лось в сладких улыбках и, глядя на него, трудно было себе представить, что это тот самый человек, который на войне отличался и смелостью и жестокостью.

Но кроме грома сражений, кроме целования хорошеньких ручек, у фельдмаршала была еще одна страсть: непомерное честолюбие. Ему мало было заслуженной славы героя и полководца, ему нужна была слава государственного человека, первое место в России.

Если он способствовал Бирону в доставлении ему регентства, то именно потому, что надеялся играть при таком неспособном правителе первенствующую роль. Он думал, что Бирон сейчас же предоставит ему звание генералиссимуса всех военных сил империи, сухопутных и морских, но Бирон и не подумал это сделать.

Бирон давно уж боялся Миниха и ясно соображал, что нужно, по возможности, оттеснять такого опасного соперника. Смелые, энергичные, талантливые люди ему были не нужны.

Ко всему этому присоединилась еще ссора Миниха с братом регента и, наконец, в по-

следние дни фельдмаршал ясно понял, что ждать ему теперь нечего и что, следовательно, ему необходимо все переделать. И он уже не задумывался над тем, как он все переделает. Он был не из тех людей, которые способны несколько раз решаться и отказываться от своих планов. Пришла благая мысль, осознана необходимость действовать — нельзя терять ни минуты.

«Я не буду так глуп, как ты, — мысленно обращался Миних к Бирону, — не стану, как ты, добиваться для себя регентства. Ты подумал, что можно забрать власть в руки и удерживать ее без всякой поддержки, что можно распоряжаться в стране, где тебя ненавидит народ и все окружающие без исключения. Нет, я буду управлять страной, но поддерживаемый благодарностью тех, кого освобожу от тебя. Ты, вот, собрал нас всех для того, чтобы поломаться перед нами, чтоб публично втоптать в грязь отца и мать того ребенка, которого ты называешь своим императором. Ты и ломаешься! Ты и бесчинствуешь! И где же тебе видеть, что ни одного нет человека в этих залах, кто бы заступился за тебя хоть одним

словом, когда придет твоя трудная минута? Что же, торжествуй, слепой крот! Гляди на меня и думай, что я друг твой! Нет, другом ты меня не считаешь, так думай, что я бессильный старик и что тебе меня нечего бояться».

И точно, Бирон в эту минуту глядел на Миниха, но, конечно не мог прочесть его мыслей.

Однако какое-то неуловимое, неожиданное чувство мелькнуло в душе регента. Он проходил из залы в залу. Все, перед кем он ни останавливался, невольно как-то вытягивались, обдергивались и склонялись перед ним. Но это его не удовлетворяло.

Ему казалось, что все же чего-то недостает в этом всеобщем почтении, и опять неясное опасение шевельнулось в нем. Точно ли все улажено? Точно ли навсегда почва тверда под ногами? Ему на глаза попалась фигура принца Антона.

Вот принц подходит к одному посланнику, потом к другому. Что-то оживленно говорит им. «Это он на меня жалуется!» — в бешенстве подумал Бирон.

«Вот, вот, так и есть! Он сегодня что-то

смотрит совсем не так робко и растерянно, как тогда, в чрезвычайном заседании. Он ободрился, значит, есть же кто-нибудь, кто его ободряет! Значит, есть же что-нибудь, на что он надеется».

Снова ярость и бешенство затуманили голову Бирона.

На него находил один из тех припадков, которым он все чаще и чаще стал предаваться в последнее время и с которыми никогда не боролся. Он терял всякое соображение.

Ему вовсе не нужна была и не входила в его расчеты публичная ссора с принцем брауншвейгским, но он теперь почему-то прямо пошел на него, нарочно зацепил его и не извинился.

Принц невольным движением отшатнулся и нервно схватился за эфес своей шпаги.

Багровая краска ударила в лицо Бирона. Он повернулся к принцу, остановился перед ним со всеми признаками сильного бешенства и громко, на всю залу крикнул.

— А! Так вы уже и за шпагу хватаетесь! Что ж, я готов и этим путем с вами разделаться, если вы хотите!

Все онемели от неожиданности этой сцены. Анна Леопольдовна, вошедшая в эту минуту в залу, слабо крикнула и с ужасом глядела на Бирона.

— Я вовсе не угрожал вам шпагой, — отвечал принц Антон, позабывший всю свою робость от этого нового оскорбления, — но вы сделали мне дерзость, вы толкнули меня и не извинились.

— И не думал толкать вас, даже и не видел, что вы тут, — кричал Бирон, — и извиняться мне перед вами нечего! А! Вот как вы теперь! Я думал, вы раскаялись, я думал, вы оставили ваши преступные замыслы, но, видно, на вас ничего не действует. Видно, меры кротости не для вас! Так не беспокойтесь, вы не найдете себе защитников. Все знают, что вы и ваша супруга называете русских канальями, что вы хотели всех генералов и министров арестовать и побросать в воду. Никто не позволит вам бесчинствовать в России, и если вы думаете, что нас мало, чтоб заступиться за честь русского народа, так погодите, скоро приедет еще новый заступник, родной внук Петра Великого, принц голштинский. Он отучит вас

называть русских канальями!

Еще с первых же бешеных слов Бирона все поспешили незаметно выйти из залы, чтоб потом не попасться ему на глаза, чтоб не оказаться во что-нибудь замешанными.

Одна принцесса Анна упала бессильно в кресло, да так и осталась, заливаясь слезами.

Принц Антон, бледный и снова трепетавший, стоял перед Бироном. Он хотел говорить, хотел возражать, защищаться, возмущаться этому новому, ничем не вызванному, оскорблению, но при бешеной фразе Бирона о принце голштинском снова растерялся и не мог уже говорить ничего. Бирон, наконец, излил всю свою злобу. Он вдруг замолчал и почти выбежал из залы.

Он кинулся к себе в кабинет, заперся и велел никого не впускать.

Теперь он уже сознавал, какую глупость сделал, сознавал, что все это было не нужно, что все это может быть только для него вредно, а это еще больше его раздражало и выводило из терпенья.

Ему захотелось теперь выбежать опять туда, в приемные комнаты, разбранить всех, без

исключения, и всех выгнать. Он едва удержался от этого.

Какая-то тоска непонятная, тоска дурного предчувствия захватила его. Неясные, неопределенные, но страшные мысли стучались в голову, так что, наконец, стала кружиться голова. Ему мерещилось что-то длинное, бесформенное, наплывающее на него со всех сторон. Ему казалось, что враги его уже торжествуют, что он пал, и над ним издеваются, его с презрением топчут те самые люди, над которыми, несколько минут перед тем, он так издевался, которые казались ему такими ничтожными, такими безвредными. И это сознание, это ощущение было так мучительно, что он все бледнел и трясся, как в лихорадке.

Наконец, он сделал над собою усилие и очнулся.

«Что же это я, с ума схожу? — подумал он. — К чему все это? Что это мне показалось? Какой вздор! Какая бессмыслица! Ведь, ничего такого нет и быть не может, и именно теперь быть не может! Я все распутал! Я сильнее, чем когда-либо! Никто со мной не спра-

вится: некому!»

Он успокаивал себя, он смеялся над своими больными грезами, а между тем, все та же беспричинная тоска, то же тяжелое предчувствие давило его: они оказывались сильнее действительности, бывшей перед его глазами.

Когда Бирон выбежал в бешенстве из залы, принц Антон подошел к жене.

Она остановила свои слезы и взглянула на него страшным взглядом, в котором почудилось ему просто отвращение.

— Что вы опять наделали? — сказала она. — Разве вы не давали мне слова, что будете вести себя как следует? Что это за наказание!..

Бедный принц заломил в отчаянии руки.

— Ach, mein Gott! Mein Gott! — глухим голосом прошептал он. — Это такая жизнь, что остается только покончить как-нибудь с собою! Вы-то чего на меня? Вы думаете, что я что-нибудь сделал, что я сказал ему хоть одно слово? Ровно ничего. Он же толкнул меня. Я даже и за шпагу-то схватился вовсе не для того, чтобы угрожать ему, так схватился. Да и,

наконец, разве возможно выносить подобные оскорбления? Я не могу! Я не могу!..

Невольные, мучительные слезы показались на глазах принца.

Он был, действительно, жалок в эту минуту.

— Успокойтесь, принц! — раздался над ними тихий голос.

Они взглянули. Возле них стояла высокая фигура фельдмаршала Миниха.

— Ах! Теперь вовсе не до утешений! — раздражительно махнул рукою принц Антон. — Хорошо вам говорить «успокойтесь» — вас никто не оскорбляет! Да и с чего вы нас утешать вздумали? Сами делали его регентом, сами хотели нашего унижения! Принцесса! — обратился он к жене. — Я не могу здесь больше оставаться, я уезжаю.

— И я тоже! — прошептала она.

Но он ее не слушал, он быстро уходил.

Она поднялась, чтобы идти за ним.

— Погодите! — сказал ей Миних. — Принц раздражен, принц ничего понять не хочет, я не могу говорить с ним. К тому же, я хочу именно говорить с вами. Я понимаю, что де-

ла не могут оставаться в таком виде. Нужно предпринять что-нибудь решительное. Положитесь на меня! Теперь, конечно, здесь рассуждать невозможно, могут услышать, помешать нам. Вообще, не надо показывать вида, что между нами есть что-нибудь общее. Завтра я буду у вас, принцесса. Потерпите несколько часов, успокойтесь! Я вам ручаюсь, что у меня есть средство помочь вам, и я помогу! Вот вам мое слово — слово солдата, на которое вы можете положиться.

Анна Леопольдовна взглянула на фельд-маршала.

Он говорил так серьезно. В его лице выразилось столько искренности! Она была так несчастна, ей так нужно было получить хоть какую-нибудь надежду, хоть кому-нибудь довериться, и она доверилась Миниху. Крепко сжала она его руку и поспешила вслед за мужем.

Миних огляделся, никого нет.

Но он не заметил, что в то время, как он доканчивал свою фразу и как Анна Леопольдовна жала его руку, на пороге залы показалась цесаревна Елизавета.

Она остановилась в дверях, постояла несколько секунд и скрылась.

«А, — подумала она, — значит дело уже началось. Так вот кто дельцом оказывается: старый фельдмаршал! Что же, он хорошо все обделает, он на это мастер! Пожалуй, что он единственный человек, которому бы я доверилась, если бы он пришел ко мне. Но не ко мне он пришел! Он забыл о моем существовании даже! Он забыл... но я этого не забуду! Когда-нибудь он, может быть, раскается, что позабыл обо мне, а теперь пусть возводит брауншвейгских, хорошо, так лучше! Все делается к лучшему! Да, к лучшему! Значит, вот, я теперь скоро освобожусь и от этого!..»

Она взглянула на входившего и, очевидно, направлявшегося к ней принца Курляндского, Петра.

«Невыносимо, да и опасно было бы долго тянуть ту комедию. Фельдмаршал, хоть вы и позабыли обо мне, но все же огромную услугу мне оказываете!»

Петр Бирон был уже возле нее.

Он весь вечер этот, по приказанию отца, ухаживал за нею.

Она сделала все, чтобы быть с ним любезной, но многого это ей стоило.

Она знала, сколько пристальных и насмешливых глаз глядят на нее. Она знала, что многие отлично понимают истинный смысл этих любезных разговоров позабытой, приниженной цесаревны с шестнадцатилетним сыном регента и, наверное, многие воображают, что это она сама задумала такое дело и, во всяком случае, рада этому.

Действительно, все заметили ухаживания принца Петра.

Маркиз де-ла-Шетарди многозначительно шепнул Нолькену:

— Посмотрите, кажется, принцесса Елизавета нас с вами уже находит слишком старыми людьми, она отдает предпочтение этому юноше.

— Нет, она слишком умна для этого, — ответил Нолькен, — она очень умна, и гораздо хитрее, чем я думал сначала! Наверно, она ведет ловкую игру, только жаль, что нас не принимают в игру эту.

Бессмысленный вечер Бирона совершенно расстроился.

Сам он не выходил больше из кабинета, да и герцогиня Курляндская громко сказала, что у нее очень болит голова сегодня.

Через полчаса все гости уже разъехались с темным сознанием какой-то приближающейся катастрофы. Кто был повнимательнее и ясно видел, те думали:

«Если он сам не знает, что делает, если его поступками начинает руководить одно какое-то безумие, значит, скоро конец ему!» И все радовались этому скорому концу и только рассчитывали теперь свои собственные шансы.

Мало-помалу Летний дворец погрузился в тишину. По опустевшим темным залам бродила только какая-то тень. Эта тень была «девка дура арапка», которой не спалось.

Она переходила из комнаты в комнату, останавливалась перед зеркалами, всматривалась в свое черное, едва освещенное лунным светом лицо, делала себе самой ужасные гримасы и по временам хохотала. И ей что-то не по себе было весь этот вечер, — может быть, и она предчувствовала близкую бурю.

На следующее утро Анна Леопольдовна проснулась довольно рано и даже решилась одеться. Она с нетерпением и замиранием сердца ждала Миниха.

Чем больше думала она о своем положении, тем оно представлялось ей безнадежнее и, кажется, не будь с ней Юлианы, всегда умевшей вовремя поддержать ее, она дошла бы до отчаяния.

Принц, не спавший всю ночь и не имевший никакой поддержки, уже давно дошел до отчаяния.

Он рано утром хотел было съездить к Остерману, посоветоваться с ним, даже велел заложить себе экипаж, но сейчас же и раздумал. Ему страшно было теперь выехать из дворца — все казалось, вот, вот возьмут и арестуют, и при всем народе!

Он направился было в комнаты жены поговорить с нею, но она его не пустила. Тогда он снова вернулся в свой кабинет, заперся, стал думать, думать — и мысли приходили ему все такие страшные, такие печальные, что, наконец, он не выдержал и всплакнул.

Он уже не думал о свержении Бирона, не

желал для себя ничего, ему хотелось только, как бы нибудь, вырваться отсюда, уехать обратно к себе домой и вздохнуть на свободе.

И если б ему сказали теперь, что его ожидает только одно изгнание, он бы положительно обрадовался. «Но нет! Нет, не выпустит он меня! — отчаянно думал бедный принц. — Что ж он выдумает? Что он с нами сделает?»

А в это время у подъезда Зимнего дворца остановилась карета фельдмаршала. За этой каретой была и другая, в ней сидело несколько человек кадет.

Миних и кадеты были немедленно допущены к Анне Леопольдовне.

Миних представил кадет принцессе.

— Вы хотели выбрать себе пажей, ваше высочество, — сказал он, — так вот соблаговолите взглянуть на этих юношей; может быть, кто-нибудь из них и удостоится чести служить вам.

Принцесса подняла глаза на мальчиков.

Все они были, как на подбор, красивые, прекрасно сложенные, с живыми глазами и здоровым румянцем на щеках.

Анна Леопольдовна на мгновение задумалась.

«Но разве не насмешка это? Ей приводят выбирать пажей, а завтра, быть может, ее самое с позором выгонят из дворца этого!»

И более, чем когда-либо, ей показалось страшною мысль удалиться отсюда, от всего блеска, который ее окружает.

Вдруг ей, постоянно убегавшей от блеска и общества, страстно захотелось видеть себя на первом месте, окруженною блестящей свитой. Ведь, она имеет на это право!

Все так и должно быть! Неужели нет никакой возможности уничтожить ее злодеев? Вчера Миних говорил с таким участием и прямо выразил, что может помочь ей. А если в самом деле поможет? Что-то он будет ей говорить? Чем кончится это свидание? Вот он теперь воспользовался предложением представления этих кадет, чтоб быть у ней, чтоб говорить с ней! О! Дай Бог, чтоб все хорошо кончилось! Надо спасти себя, надо непременно, тем более, что еще сегодня утром Юлиана Менгден принесла ей известие о том, что письмо ее к Линару вручено надежному чело-

веку и наверное в скором времени будет доставлено по назначению. Линар приедет! Новая жизнь начнется... Да!.. Она начнется — она должна начаться!

И Анна Леопольдовна, за несколько минут совсем убитая и растерянная, вдруг вся, с молодым порывом, отдалась надежде. Она еще раз и уже ясными, живыми глазами взглянула на кадет.

— Кого же мне выбирать? Я не знаю! — любезно улыбнулась она, обращаясь к Миниху! — Такие милые дети — мне их всех хотелось бы при себе оставить. Но их много, нельзя. Право, все мне нравятся. По моему, нет между ними худших и лучших, так что остается кинуть жребий. Юлиана! — крикнула она в соседнюю комнату.

Юлиана сейчас же явилась.

— Принеси, пожалуйста, платок, моя милая, — сказала ей принцесса, — да нарежь семь бумажек. На четырех из них напиши: «паж», а три оставь пустыми.

Юлиана вышла исполнить приказание принцессы.

Анна Леопольдовна любезно обратилась к

кадетам, стала их расспрашивать о том, кто они? Откуда? Сколько им лет?

Кадеты, вытянувшись в струнку, почти-тельно отвечали. Каждый из них с ужасом думал о том, что вдруг он вынет пустую бумажку, каждому так хотелось быть пажем у этой милой, молодой принцессы.

Но вот и бумажки готовы. Они скручены в трубочки, положены в платок, перемешаны.

Принцесса взяла своей маленькой белой рукой платок за четыре уголка, встряхнула его и приказала кадетам подходить одному за другим.

Подошел первый кадет, вынул бумажку, дрожащими руками развернул ее. Она была пустая.

Неудержимые слезы показались на глазах бедного мальчика.

Принцесса ласково потрепала его по плечу и сказала:

— Очень жалею, мой милый, но такова судьба! Больше четырех пажей мне теперь выбрать невозможно. Если б могла, конечно, всех вас при себе бы оставила.

Мальчик, едва удерживая рыдания, ото-

шел в сторону. За ним еще более трепетно подошел другой. Этот вынул бумажку со словом «паж» и весь расцвел.

Принцесса протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал.

Затем сразу вышли две пустых бумажки; остальные уж и брать не приходилось.

Анна Леопольдовна всем протягивала руку; новые пажи ее целовали.

— Фельдмаршал, — обратилась она к Миниху, — будьте так добры, распорядитесь, чтоб этих милых детей хорошенько угостили прежде, чем они отправятся обратно. А сами ко мне вернитесь.

Миних увел мальчиков и через несколько минут вернулся.

— Теперь, ваше высочество, — прямо начал он, — мы можем без помехи поговорить с вами и я очень рад, что вы одни. Я хорошо понимаю ваше положение. Я вижу, как вы страдаете и нахожу, что теперь именно пришло время приступить к чему-нибудь решительному.

Надежда, мелькнувшая было перед Анной Леопольдовной, снова исчезла.

«Приступить к чему-нибудь решительному! Что это значит?» — подумала она.

— То есть, на что же мне нужно решиться, граф? — вопросительно взглянула она на Миниха. — Решаться не на что! Мы до такой степени окружены шпионами, каждый шаг наш известен! Все нам преданные люди уже схвачены!..

Миних улыбнулся.

— Это показывает только, что следует действовать осторожно, а не так, как до сих пор действовал принц. Да! Нужно действовать осторожно и решительно.

Анна Леопольдовна вздрогнула. Ей уж представилось, что Миних вовлек ее в новый заговор, что этот заговор, конечно, сейчас же будет открыт Бироном. Ей мерещилось уж даже не просто ссылка, а пытки и Бог знает что!

— Нет, нет, граф! — торопливо перебила она. — Я не хочу ничего. Я ни о чем не мечтаю. Я регент желает нас уничтожить, удалить отсюда, ну что ж! Я согласна. Я уеду, и от всего откажусь... Но мне только одно нужно, чтоб меня не разлучали с сыном, чтоб мне позволили увезти его с собой. Больше мне,

право, ничего не нужно!..

Миних продолжал чуть заметно улыбаться.

— Граф, вы имеете влияние на регента, ради Бога, уговорите его, чтоб он позволил мне взять с собою сына...

— Не стану я его уговаривать, принцесса, — отвечал Миних, — и я вовсе не затем сюда приехал, чтоб слышать от вас такие слова. Как! Вы хотите всем пожертвовать? Хотите пожертвовать собою и даже вашим сыном, императором? Бог с вами, принцесса, разве это возможно? Нет! Перед вами открывается самая лучшая будущность! Я явился к вам для того, чтоб сказать вам, что пришло время действовать и что я готов служить вам всеми моими силами. Вы говорите, что Бирон хочет вас уничтожить; может быть, это и правда! Даже больше — я должен вам прямо сказать, что это правда! Я знаю, что он очень желает вашего удаления, ну так и с ним нечего церемониться. Мы его уничтожим прежде, чем он успеет оглянуться; скажите мне только слово, разрешите действовать, и, я надеюсь, все будет хорошо кончено!

Принцесса, услышав эти слова, так испугалась, как будто бы Миних объявил ей о том, что вот сейчас должны явиться и схватить ее, и запереть в крепость. Она была в эти последние дни так напугана Бироном, она так привыкла верить в его всемогущество. Она не могла представить себе, что этот человек может быть уничтожен и кем же? Ею!

Еще сейчас она себе повторяла, что нужно освободиться, она мечтала о новой жизни, и вот, когда ей предлагают эту жизнь, она вся трясется от страха.

Потом еще одна страшная мысль приходит ей в голову: а ну, как Миних только играет роль преданного ей человека! Ну, как он, просто-напросто, подослан самим Бироном и теперь вот пойдет и донесет ему, что она задумывает новый заговор, что она желает его свергнуть?!

— Нет! Нет, граф! — отчаянно повторила она. — Я ни о чем не думаю, я ничего не желаю замышлять, а просто страдаю от оскорблений, которые меня заставляют выносить. Я просто хочу уйти от этой невыносимой жизни, вздохнуть спокойно. Мне ничего не нуж-

но, только бы мне оставили сына и позволили с ним уехать куда-нибудь подальше.

Миних пожал плечами.

— Вы не можете желать только этого! Вы не имеете, наконец, права перед всей Россией! От Бирона страдаете не вы одни: все от него страдают! Нужно же с этим покончить! Нужно от него избавиться.

— Я не знаю, — прошептала принцесса, — регент нас ненавидит, но, может быть, он незаменимый человек для государства! И, должно быть, так! Вы же, граф, и способствовали его утверждению регентом.

Лицо Миниха оживилось.

Он, наконец, понял в чем дело.

— А! Вы не верите моей искренности, ваше высочество! Вы меня сейчас упрекнули в том, что я способствовал утверждению Бирона регентом, да, я этому способствовал! Я не скрываюсь, да и нельзя мне скрываться, но не стану я скрывать и причину, заставившую меня это сделать. Если я старался о регентстве Бирона, то только для того, чтобы побудить покойную императрицу назначить себе преемника. Иначе же, поверьте, преемник престола

не был бы назначен, Бирон не допустил бы этого. Императрица умерла бы без завещания, и, представьте себе, в какое ужасное положение была бы поставлена Россия? Были бы страшные беды, да и вы страдали бы не меньше, а, наверно, больше, чем теперь, и не было бы исхода из этого положения.

Анна Леопольдовна внимательно слушала.

Миних говорил все с возрастающим жаром и, наконец, добился того, что совершенно убедил ее. Она поверила его искренности.

— Я верю вам, верю, граф, — сказала она, протягивая ему руку, — и надеюсь, вы мне простите мое сомнение. Войдите и в мое положение: ведь, просто не знаешь, кому верить, кого бояться. Со всех сторон враги, недоброжелатели! Но теперь я вам верю и знаю, что только на одного вас я и могу положиться. Вы только один и в состоянии спасти меня! Но я не могу, я не смею требовать от вас этого спасения: спасая меня, вы слишком многим сами рискуете. Мне за вас страшно.

— За меня не бойтесь, — возразил Миних, — я знаю, что делаю. Я приехал только за вашим согласием и если вы мне его даете, то

я прошу вас успокоиться. Мне надо только несколько часов все получше обдумать. Я надеюсь одержать новую победу и на этот раз без всякой крови! Только прошу я вас: не говорите ничего принцу. Я очень рад, что не застал его здесь; принц слишком неосторожен, и я боюсь, что он, пожалуй, замешает в это дело Остермана. А теперь вся остермановская хитрость нам ничего не поможет, только повредит. Он будет медлить, он будет раздумывать, тогда как медлить и раздумывать невозможно. Да и, наконец... наконец, я за Остермана не отвечаю и я сомневаюсь даже, чтобы этот человек был искренно расположен к вам, принцесса! Если его руками будет свержен Бирон, то правителем окажется принц, а я, говоря откровенно, желаю одного: я желаю сделать вас правительницей, принцесса!..

Снова светлая надежда охватила Анну Леопольдовну. Она восторженно глядела на Миниха. Этот решительный, самоуверенный человек теперь казался ей действительно всемогущим.

Он так говорил, что, слушая его, нельзя было ему не верить. Он, очевидно, знает, что де-

лает и все, что говорит он про Остермана, про принца, совершенно справедливо. Если б точно был уничтожен Бирон и правителем объявлен принц Антон, то принцессе тоже хорошего ожидать нечего: в последнее время ее отношения к мужу совершенно испортились. Нет! Уж если будет такое счастье, что избавятся они от лютого своего врага, то нужно о себе думать и себе все устроить!

— Благодарю вас! — со слезами на глазах прошептала Анна Леопольдовна, крепко сжимая руку Миниха. — Благодарю вас! Я ни слова не скажу мужу. Я полагаюсь только на вас одного. Но, Боже мой! Если вам предстоит опасность, если вы не совсем уверены в успехе, оставьте это дело!

— Завтра утром я скажу вам мое последнее решение, — отвечал Миних, вставая, — а теперь до свиданья, принцесса, прошу успокойтесь и ободритесь — только с бодрым духом и можно что-нибудь сделать, а страх только погубит!

Миних вышел, и вслед за ним появилась Юлиана Менгден. Она все время стояла тут, в двух шагах, за портьерой и слышала весь раз-

говор. И Анна Леопольдовна знала, что она его слышит, и ничего против этого не имела: все равно она не могла бы скрываться от Юлианы.

Она бросилась на шею своему другу и зарыдала. Это был даже какой-то истерический припадок, так что Юлиана долго не могла ее успокоить. Но вот, наконец, слезы остановились. Принцесса откинулась головою на спинку кресла и обратилась к Юлиане, не выпуская руки ее:

— Ну, скажи мне, что ты об этом думаешь? Должна ли я на него положиться? Сделает ли он то, что обещает.

— Я думаю, — сказала Юлиана, — что если на кого-нибудь полагаться, то именно на него. И у меня еще сегодня с утра какое-то хорошее предчувствие; я уверена, что все устроится самым лучшим образом.

— Да? Ты уверена? У тебя предчувствие? — радовалась принцесса.

И это хорошее предчувствие Юлианы ее ободряло даже гораздо больше, чем все слова Миниха.

Они стали рассуждать о том: что будет, ко-

гда они свергнут Бирона и когда придет Линар.

Но долго говорить о Линаре им не удалось: принц Антон не вынес, наконец, своего одиночества и почти вбежал в комнату. Он очень изумился, застав жену и Юлиану с радостными, оживленными лицами: они, очевидно, даже только что смеялись.

— Есть время смеяться и радоваться! — мрачно сказал принц. — Тут вот того и жди нас всех арестуют, а вы смеетесь!

— Конечно, вы делаете все возможное для того, чтобы нас арестовали, — заметила ему принцесса, — но Бог даст и не арестуют. Да и если б даже арестовали, так неужели так же трусить как вы трусите? Знаете ли, что я еще никогда в жизни не встречала такого труса!

Лицо принца вспыхнуло, но он тщетно искал слов, чтобы ответить на эту обиду. Он сам в последнее время сознавал себя ужасным трусом. Он только недружелюбно взглянул на жену и опять вышел из комнаты.

Вслед ему раздался смех Анны Леопольдовны.

— Видишь, — сказала она, обращаясь к

Юлиане, — и я умею кое-что устраивать, когда надо. Ты-то пока еще думала, как нам от него отделаться, а я сказала одно слово, и он выбежал, как ужаленный. Ну, теперь не вернется, мы можем говорить без помехи.

И они снова начали передавать друг другу все свои планы и надежды, и снова имя Линара постоянно повторялось в их речи.

Х

На безоблачном, бледно-голубом, с легким розоватым оттенком небе, в слабом морозном тумане вышло солнце и оживились петербургские улицы. Недавно выпавший снег, скрепленный первым морозом, ярко блестел и переливался радужными цветами. В почти безветренном воздухе прямыми белыми столбами поднимался дым из труб. Петербургский люд весело приветствовал ясный зимний денек и как-то оживленнее спешил по улицам.

И никто не знал и не догадывался, что этот ясный денек задался не даром, что он готовит большое событие. Не догадывались об этом даже и те, кто давно уже ожидал этого события...

Регент Российской империи, герцог Курляндский, Бирон, вышел в дорогой собольей шубе на крыльцо Летнего дворца, вдохнул полной грудью свежий, чистый воздух и весело огляделся.

Перед ним в почтительной неподвижности стоял караул гвардейский; его окружала многочисленная свита, ловящая каждое его слово, каждое движение. Прямо в его глаза заглядывало зимнее солнце и смеялось и искрилось. Герцог обернулся.

За ним стоял принц Антон брауншвейгский.

Если б принц Антон знал, о чем в эту минуту идет разговор между его женою и фельдмаршалом Минихом в Зимнем дворце, он не ответил бы, конечно, такой почтительной улыбкой на взгляд регента. Но он ничего не знал: принцесса ничего ему не сказала и только как-то странно улыбнулась, когда он объявил ей, что отправляется к регенту и намерен всячески постараться сойтись с ним снова.

— Не уезжайте, принц, зайдемте в манеж, я вам покажу моего нового жеребца, удиви-

тельное животное! — сказал довольно любезно Бирон.

— С большим удовольствием, — ответил принц Антон. — Вы знаете, что лошади, особенно такие лошади, каких вы умеете выбирать себе, это моя слабость.

Бедный принц уже окончательно начинал льстить регенту. Он знал, что только этим способом и можно смирить его.

И, действительно, Бирон еще любезнее улыбнулся.

— Да, лошади... лошади, — проговорил он, — это благородная слабость.

И он, весело жмурясь от яркого солнца, поспешил в манеж, взяв под руку принца Антона.

Вся свита почтительно за ними последовала.

Знаменитый жеребец был выведен и подробно осмотрен.

Регент снял с себя шубу, привычным легким движением вскочил на нервно дрожащего коня и проехался по манежу.

На него, действительно, можно было полюбоваться в эти минуты: так он держался на

лошади. Все присутствовавшие усиленно громко восхищались и, конем и наездником.

Бирон начинал увлекаться своей любимой забавой. Он пускал лошадь галопом и вдруг осаживал ее на всем скаку, заставлял ее ходить мерным шагом, описывал по манежу удивительные круги, грациозно выделял цифры и буквы, как конькобежец на льду. Его глаза разгорались, на бледных щеках выступил румянец, он радостно кивал головою на шумные фразы восхищения, раздававшиеся после каждого удачного его фокуса. Ему было хорошо, весело, привольно.

Но вдруг глаза его потухли, со щек исчез румянец. Что же такое случилось? Или конь неловко оступился? Или в великолепном коне этом герцог заметил какой-нибудь недостаток? Нет! Конь держал себя безукоризненно и чистота его породы была вне всякого сомнения. Что ж? Или между окружающими, между этими восхищающимися зрителями герцог заметил какое-нибудь подозрительное лицо, уловил чей-нибудь недружелюбный взгляд, чье-нибудь непочтительное слово? Нет! Зрители все до одного были прекрас-

ными актерами, все до одного изображали собою воплощение восторга и благоговения.

Просто какая-то неясная мысль мелькнула в голове регента и даже не мысль, а что-то совсем неуловимое, какое-то странное, непонятное ощущение. Это ощущение в последние дни все чаще и чаще начинало преследовать Бирона. Оно являлось внезапно, среди самых веселых мыслей и мигом разгоняло эти мысли, мигом наполняло всю душу каким-то мучительным страхом ожидания чего-то ужасного и неминуемого.

Бирон остановил коня и спрыгнул на землю.

Его встретили самые вычурные фразы похвал и удивления, но он уже слушал их рассеянно и долго не мог придти в себя, долго не мог избавиться от непонятного мучительного чувства.

Вот уже раздражение послышалось в голосе: он всегда кончал раздражением в подобные минуты.

Принц Антон, видя, что регент снова в дурном настроении духа, поспешил откланяться и уехал к себе, боясь какой-нибудь неприят-

ной сцены.

Из манежа Бирон отправился прямо во дворец и не выходил до обеда.

К обеду приехали, между прочими: Левенвольде и фельдмаршал Миних.

Миних, по своему обычаю, был любезен и весел, с чувством целовал руки у герцогини Курляндской и говорил комплименты ее дочери Гедвиге.

К регенту он относился также с необыкновенной почтительностью и, глядя на него, каждый, конечно, признал бы в нем самого преданного, неизменного друга этого семейства. А, между тем, ловкий и смелый план уже окончательно созрел в голове фельдмаршала.

Улыбаясь и любезничая, почтительно, дружеским тоном, беседуя с Бироном, он знал, что пройдет еще несколько часов и этот самый Бирон будет в руках его. Он еще утром окончательно приготовил принцессу Анну Леопольдовну: прямо объявил ей, что в нынешнюю ночь намерен схватить Бирона.

Сначала принцесса начала, как и вчера, отказываться, говорила, что не может допу-

стить, чтобы Миних ради нее жертвовал своей жизнью и всем своим семейством. Советовала ему, по крайней мере, хоть сговориться с другими, с Левенвольдом, например.

Но Миних отвечал ей, что она обещала положить на него одного, что он никого не хочет вовлекать в опасность и намерен сам, один, сделать все дело.

Анне Леопольдовне уже нечего было возражать ему и она со слезами на глазах стала восхищаться его великодушием и смелостью.

— Ну, хорошо, — сказала она на прощанье, — только, ради Бога, делайте поскорей. Если б вы знали, как я волнуюсь!..

— Медлить не буду, — отвечал Миних, — да и нельзя мне медлить, — мой Преображенский полк завтра сменится по караулам, тогда будет труднее.

И вот он отправился обедать к Бирону и теперь чувствовал даже какое-то раздражающее наслаждение в том, что вот он сидит посреди них, со своей заветной тайной, которую не открыл никому, даже родному сыну, что они все смотрят на него, как на своего человека...

«Если б он знал, — думал Миних, поглядывая на регента, — если б он знал, что у меня в мыслях и что должно совершиться сегодня, он немедленно бы велел схватить меня и я бы тогда не вырвался из когтей его. Но он не знает и не узнает».

И фельдмаршал наслаждался все больше и больше.

Обед шел довольно вяло. Хозяин был все сумрачен, а хозяйка и никогда не отличалась разговорчивостью и любезностью. Беседу поддерживал опять-таки только Миних, постоянно шутивший с Гедвигой.

Но вот одна фраза неожиданно поразила Миниха и заставила его вздрогнуть.

Левенвольде вдруг, ни с того ни с сего, обратился к нему и сказал:

— А что, граф, я давно хотел спросить вас: во время ваших походов вы никогда ничего не предпринимали важного ночью?

«Что это такое? — быстро мелькнуло в голове Миниха. — Что это значит? Неужели он знает что-нибудь? Неужели подозревает? Откуда же?.. Сегодня утром принцесса советовала мне обратиться к нему, а теперь вот он за-

дает мне такой вопрос... Может быть, она с ним виделась! Может быть, что-нибудь сказала! Но, в таком случае, ведь, это ужасно! Ведь, он все может испортить!»

А, между тем, нужно было ответить, нужно было совладать с собой и успокоиться, иначе Бирон заметит. Весь успех дела висит на волоске.

Какое-нибудь неосторожное движение, ничтожное слово и все пропало!

Но Миних умел владеть собой. Через секунду его волнения как не бывало. Он спокойно взглянул на Левенвольде и отвечал:

— Не помню, чтобы я когда-нибудь предпринимал что-либо чрезвычайное ночью, но мое правило пользоваться всяким благоприятным случаем.

Левенвольде замолчал, и разговор на том кончился.

А мрачное настроение Бирона все продолжалось. Он встал из-за стола рассеянный и молчаливый. Он несколько раз не ответил на обращенные к нему вопросы; очевидно, совсем их не слышал!

Это заметили все, даже его жена.

— Что с вами? — обратилась она к нему.

— Ничего! Мне что-то не по себе, — рассеянно ответил он.

— В таком случае, ведь, нужно посоветоваться с доктором, — заметил Миних.

— Нет, не нужно, я не болен, может быть, устал сегодня в манеже: много ездил!

С этими словами Бирон направился в свои покои. Но он еще обернулся на пороге и сказал Миниху:

— Приезжайте, граф, вечером: много дел скопляется, поговорить нужно.

Миних сказал, что приедет, а сам подумал, что в таком случае исполнение его плана запоздает часа на два.

«Но больше чем на два часа ты от меня не ускользнешь», — закончил он свою мысль.

Скоро во дворце стало темно: все разъехались.

Бирон не выходил из кабинета. Он то принимался читать лежащие на его письменном столе бумаги, то бросал их и нервно ходил по комнате. Тоска давила его все больше и больше и, наконец, дошла до того, что почувство-

вал себя самым несчастным человеком и не знал, отчего так несчастлив, не знал, что такое творится с ним. Что это: болезнь приближается страшная, или беда подходит?

Но он не в силах был решать эти вопросы, он просто, наконец, перестал думать. Мысли путались, находило полузабытье какое-то странное.

В этом полузабытьи он встретил вернувшегося по его зову Миниха. Он пробовал говорить с ним о делах; но фельдмаршал с изумлением замечал в нем необыкновенную рассеянность.

Вслед за отъездом Миниха Бирону подали какой-то пакет с надписью по-немецки. Он развернул его и прочел.

Это было письмо от Липмана, банкира-еврея, который когда-то ссужал Бирона деньгами и которому в последние годы герцог Курляндский сильно протезировал.

Липман извещал его светлость, что затевается нечто недоброе, что герцогу необходимо принять меры. Просил его назначить ему аудиенцию, говорил, что он явится с другим своим товарищем, Биленбахом, и на словах

передадут все, что знают...

Бирон прочел это письмо и даже его не понял. Перечел еще раз.

«Что такое? — подумал он. — Нужно послать за ними сейчас же! Нужно узнать!»

Рука его уже протянулась к колокольчику, но он не позвонил. Письмо упало на ковер. Герцог опустил голову на руки и забылся.

А в это время Миних, вернувшись к себе, велел позвать своего первого адъютанта, подполковника Манштейна.

Манштейн застал фельдмаршала в туфлях и халате, совсем готовым идти в спальню.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил он.

— Вот что, мой милый, — ответил Миних. — Никуда не уезжайте, останьтесь эту ночь у меня, вы мне понадобится очень рано. Я велю вам приготовить постель, ложитесь сейчас и постарайтесь скорее заснуть; я вас разбужу, когда надо будет.

Манштейн изумленно взглянул на фельдмаршала, но тот так ничего и не пояснил ему и пошел в спальню...

Миних снял с себя халат и туфли, лег на

постель, прикрылся одеялом и стал думать.

Ему казалось, что он лежит в походной палатке, что через несколько часов ему предстоит генеральное сражение, что перед ним неприятельская армия, которую победить нужно.

И, действительно, он готовился к генеральному сражению, но ему предстояла битва, не похожая на те, в которых он одерживал свои блестящие победы, ему предстояла битва один на один с могущественным неприятелем, битва не при громе пушек, а в глубокой тишине морозной зимней ночи. От этой битвы зависели не только судьба его, но даже судьба целого русского государства.

Но мысли начинают путаться, берет дремота, глаза сами собою смыкаются.

Миних вскочил с постели, снова надел халат и туфли и начал ходить по комнате.

«Нет, этак заснешь!» — думал он. Взглянул на часы: уже скоро два часа. Он снова снял халат и начал одеваться. Вот он уж готов. Он кликнул своего камердинера, велел поскорее заложить карету, да тихо, не будить никого, и чтоб кучер дожидался во дворе.

Камердинер вышел, а Миних отправился будить Манштейна.

Манштейн сладко спал, забывши все любопытство, возбужденное в нем непонятым поступком фельдмаршала. Но вот он проснулся, протер глаза и увидел перед собою Миниха в полной парадной Преображенской форме.

— Одевайтесь скорее, — сказал Миних. — Нам пора ехать.

— Куда ехать? — спросил Манштейн.

— В Зимний дворец, а оттуда в Летний!

Глаза Манштейна широко раскрылись: он начинал понимать в чем дело.

— Я думаю, что могу на вас положиться, — проговорил фельдмаршал, протягивая ему руку. — Ведь, вы готовы идти со мною?

— Еще бы! — с нервной дрожью сказал Манштейн. — Куда угодно, на какие угодно опасности.

— Вы понимаете, в чем дело?

— Понимаю, ваше сиятельство! Вы можете на меня положиться.

— Благодарю вас. Впрочем, я и так в вас уверен.

Через несколько минут с заднего двора дома Миниха выехала карета и быстро помчалась по направлению к Зимнему дворцу.

На петербургских улицах стояла глубокая тишина: все спало мертвым сном, только кое-где за воротами лаяли собаки, только, покачиваясь со стороны на сторону, разводя руками и о чем — то рассуждая сама с собою, через улицу плелась жалкая, отрепанная фигура пьяного мастерового.

Быстро мчавшаяся карета чуть было не наехала на эту фигуру. Пьяный мастеровой, однако, во время отшатнувшись, повалился на снег и долго бессмысленно глядел на удалявшуюся карету. Он не понимал, что это такое промчалось, да и где же ему было понять? Если б не только пьяный мастеровой, но и весь Петербург проснулся и увидел эту карету, то и тогда бы никто не понял, как много она значит.

Эта карета приснилась только метавшемуся в тревожном, сне регенту Российской Империи, да и то приснилась в виде чего-то огромного, бесформенного, ужасного, несущегося на него со сверхъестественной силой и готового раздавить его.

XI

Карета объехала Зимний дворец кругом и остановилась у заднего подъезда. Здесь было все пусто; только сторож дремал, закутавшись в тулуп. Он даже не слышал, как подъехала карета и не окликнул входивших на крыльцо Миниха и Манштейна.

Они поднялись по темной лестнице, отворили какую-то дверь.

— Кто там? — услышали они из соседней комнаты, но ничего не отвечали. К ним вышла заспанная служанка и, увидя их, вскрикнула.

— Не кричи! Не кричи! — сказал Миних. — Ничего не случилось! Поди поскорей и разбуди фрейлину, госпожу Менгден.

— Да как же вы прошли? Ведь, здесь... здесь гардеробная принцессы! — шептала изумленная и испуганная служанка.

— Поди и разбуди госпожу Менгден! — строго повторил Миних.

Служанка удалилась, не смея послушаться генерала.

Юлиана не заставила себя долго ждать.

Она появилась в пеньюаре, не причесан-

ная, но с блестящими, вовсе не заспанными глазами.

Она, очевидно, еще не ложилась и дожидалась.

— Ну что... что? — обратилась она к Миниху. — Ведь, ничего дурного? Нет?

— Ничего дурного. Надо разбудить принцессу, мне необходимо увидеться с нею, я буду дожидаться здесь...

— Хорошо, сейчас!

Юлиана быстро скрылась.

Не прошло и пяти минут, как она вернулась снова и пригласила Миниха следовать за нею.

Манштейн остался в гардеробной.

Миних прошел две комнаты и увидел перед собою принцессу.

Маленькая лампочка тускло освещала большую комнату; но все же и в этом полумраке можно было заметить, как бледна и как трепещет Анна Леопольдовна.

— Неужели вы решились? Неужели сейчас все должно быть? — дрожащим голосом спросила она, подавая руку Миниху.

— Да, сейчас, сейчас, или никогда! — твер-

до проговорил он. — Теперь отступать невозможно. Вы должны решиться, перестать колебаться, перестать бояться: все благополучно кончится, даю вам в этом слово.

— Я решилась, — прошептала принцесса. — Чего же вы от меня требуете?

— Надо объявить офицерам и солдатам, а затем необходимо, чтобы вы ехали со мною в Летний дворец. Моя карета здесь дожидается.

— Мне... с вами ехать? — в ужасе всплеснула руками Анна Леопольдовна. — Нет, граф, ни за что! Делайте, что хотите, но я... я не поеду! Это выше сил моих!

Краска раздражения вспыхнула на щеках Миниха, но он удержался.

— Хорошо... пожалуй... и без этого обойтись можно. Только здесь-то, перед офицерами, вы должны выказать твердость. Обещаетесь ли вы мне в этом?

— Да, обещаюсь! — сказала Анна Леопольдовна, прислонившись к спинке высокого кресла. Ее ноги дрожали.

Миних вышел к Манштейну и приказал ему позвать к принцессе, этим же задним хо-

дом, всех караульных офицеров.

Сделав это распоряжение, он снова вернулся к Анне Леопольдовне и всячески старался ободрить ее.

Когда офицеры, изумленные и еще не понимавшие в чем дело, показались на пороге комнаты, принцесса совершенно овладела собой.

Она сделала несколько шагов вперед и грациозно поклонилась вошедшим.

— Я призвала вас, господа, — обратилась она к ним дрогнувшим, но громким голосом, — чтобы просить вашей помощи. Вы знаете мое расположение ко всем вам, ко всему войску. Я, кажется, никогда не подавала вам повода быть недовольными мною?

— Конечно, ваше высочество, — разом сказали офицеры. — И ради вас мы всегда готовы жертвовать нашей жизнью.

— Благодарю вас! — продолжала принцесса. — Так вот, видите, я и решаюсь требовать от вас жертвы! С самой минуты кончины императрицы я не знаю покоя. Меня, моего мужа и моего сына-императора преследует регент. Он хочет удалить нас из России. Он хо-

чет совершенно завладеть всем. Он осыпает нас обидами и оскорблениями, он обращается со мною не как с матерью императора. Мне нельзя, мне стыдно даже сносить эти обиды. Я долго терпела, но, наконец, решилась его арестовать и поручила это фельдмаршалу Миниху. Надеюсь, что вы будете повиноваться своему генералу и помогать ему исполнить мое поручение.

Офицеры выслушали эти слова с очевидною радостью.

— Матушка! Ваше высочество! Давно мы все этого желаем и вы несказанно обрадовали нас вашими словами. Исполним вашу волю, хотя бы пришлось положить жизнь свою!

— Благодарю вас! — прошептала растроганная принцесса и протянула к ним руки...

Они кинулись целовать эти протянутые руки, а Анна Леопольдовна каждого из них целовала в лоб.

Но тут твердость ей изменила. Она бессознательно опустилась в кресло и едва слышно сказала Миниху:

— Ступайте! Да хранит вас Бог!

Миних подал знак офицерам и они все вы-

шли.

Сошедши с фельдмаршалом вниз, офицеры тотчас же кинулись к караульным солдатам, поставили их под ружье.

Перед солдатами показался Миних и, прежде чем они его узнали в ночном сумраке, он заговорил с ними:

— Ребята! — сказал он. — Нужно спасти императора и его родителей от человека, присвоившего себе власть и творящего всякие беззакония: готовы ли вы идти за мною?

— Рады стараться! Хоть в огонь пойдем за тобою! — весело крикнули солдаты, наконец, дождавшиеся минуты, которой они давно и страстно ожидали.

Тогда Миних начал распоряжаться. Он оставил сорок человек здесь, при знамени, а с восемьюдесятью, в сопровождении нескольких офицеров и Манштейна, отправился к Летнему дворцу.

Тихо по пустой темной улице подвигалось это шествие.

Вот и Летний дворец; перед входом караулы.

Миних остановился со своим отрядом и по-

слал Манштейна объявить дворцовым караулам о намерении Анны Леопольдовны.

Все чутко прислушивались и приглядывались. Ничего не слышно, только заметно движение в карауле.

Манштейн бегом возвращается и объявляет, что там с радостью его выслушали и даже предложили свою помощь при арестовании герцога.

— Так возьмите с собой одного офицера и двадцать солдат, — обратился Миних к Манштейну, — и ступайте, арестуйте Бирона, а если он станет сопротивляться, так и убейте его. Мы будем вас ждать.

Манштейн с двадцатью солдатами направился ко дворцу; наружный караул сейчас же пропустил его. Уже входя на крыльцо, он велел солдатам следовать за собою издали, и как можно тише. А сам пошел дальше.

Он один — караульные во внутренних комнатах ничего не знают, пропустят ли они его? Может быть, задержат? Может быть, вместо благополучного и блестящего исполнения этого неожиданного, смелого плана, Манштейну предстоит арест и затем казнь? Но

смелый подполковник быстро отогнал от себя эти мысли и твердою поступью пошел дальше.

Караулы всюду пропускали, они знали, что это старший адъютант фельдмаршала и, конечно, думали, что он явился к регенту с каким-нибудь важным делом.

Манштейн прошел целую анфиладу комнат и остановился. Он не знал, куда ему идти дальше, не знал, где спальня регента. Спросить у лакеев нельзя, поднимется шум.

Он решился идти все вперед и вперед, авось, выйдет именно туда, куда ему нужно.

Он прошел еще две комнаты, очутился перед закрытыми на ключ дверьми, сильно рванул двери и они отворились, потому что не были приперты задвижками вниз и вверх.

Манштейн вошел в большую комнату. В углу, на высокой мраморной подставке, горела лампа, заслоненная резным абажуром.

Прямо перед собою, в глубине комнаты, Манштейн заметил огромную, роскошную кровать под балдахином.

Он на цыпочках подошел по мягкому ковру к кровати, откинул штофную занавеску и

разглядел Бирона и его жену. Оба они спали крепким сном.

Бирон, почти всю эту ночь метавшийся и ежеминутно вскакивавший с постели, наконец, утомился и заснул. И уже ничего ему не грезилося. Его не возмущали больше страшные сновидения, призраки. Он дышал мирно. Лицо его было спокойно.

Манштейн стоял у кровати с той стороны, где лежала герцогиня.

— Проснитесь! — громко сказал он.

Но они не просыпались.

Тогда он наклонился еще ближе к кровати и сказал еще громче: «проснитесь!»

Бирон и его жена разом открыли глаза, испуганно взглянули на Манштейна и приподнялись с подушек.

— Что это? Что? — с ужасом выговорил регент.

Герцогиня взвизгнула и закрылась одеялом.

— Арестую вас именем его императорского величества! — громко произнес Манштейн, обнажая шпагу.

— Караул! — отчаянным голосом крикнул

Бирон.

— Караул! — взвизгнула под одеялом герцогиня.

При этом Бирон вскочил, и Манштейну показалось, что он хотел спрятаться от него под кровать. Действительно, он прятался; но в то же время продолжал кричать: «караул!»

— Молчите! — грозно выговорил Манштейн, быстро обежал кругом кровати и старался схватить регента.

Тот начал обороняться и кричать еще громче.

— Молчите! Вас все равно никто не услышит. Я привел с собой много солдат, и если вы будете сопротивляться, то я убью вас.

Бирон вздрогнул.

Манштейн схватил его и крепко держал до тех пор, пока не явились солдаты.

Между тем, вся уже комната наполнена народом.

Герцогиня все лежит, закутанная одеялом, и визжит.

Манштейн передал Бирона солдатам. Но когда они подошли, чтобы взять его, он вдруг собрал все свои силы, сжал кулаки и стал от-

махиваться направо и налево. Солдаты кинулись на него, но долго не могли совладать с ним.

Завязалась отчаянная борьба. Рубашка регента разорвана, его колотят по чему попало сильные, мозолистые руки. Он все еще отмахивается; но, наконец, сил больше нет. Его повалили на ковер, засунули носовой платок ему в рот, связали руки офицерским шарфом, закутали в одеяло и вынесли из спальни.

Несчастный Бирон был в забытьи, не шевелился и со стороны можно было подумать, что это несут безжизненное тело.

В первую секунду, когда голос Манштейна разбудил его, он подумал, что случилось что-нибудь очень важное и что Манштейн прибежал предупредить его. Ему и в голову не могла придти мысль относительно фельдмаршала Миниха; он даже сразу не поверил ушам своим, когда услышал слова Манштейна: «арестую вас».

Но Манштейн повторил эту ужасную фразу.

Неужели, действительно, это арест и падение? Неужели его могут арестовать... здесь,

в его Летнем дворце, в его спальне? Здесь, по крайней мере, он считал себя в безопасности; ведь, кругом народ, бездна прислуги, караулы! Значит, что же?.. Значит, все в заговоре... все?! Но это, ведь, не может быть! Этот негодный Манштейн прокрался, как вор... Стоит только крикнуть и сбегутся люди, схватят этого Манштейна, весь этот низкий заговор рушится! И он еще раз посмеется над своими врагами, да так посмеется, что потом ни у кого уже не поднимутся руки на него, никто не решится выдумывать заговор...

«Караул! Караул!» — повторяет Бирон, а между тем, никто не является ему на помощь.

Вот и солдаты! Его хватают. Мысли его остановились; он совершенно машинально отбивался от солдат. Но его схватили, связали, и он уже ни о чем не думает. Он все забыл. Ни страха, ни ужаса, ни отчаяния, ни злобы нет в нем. Он только чувствует, как мало-помалу начинает разбалчиваться его тело, как крепко скручены руки, как неловко солдаты несут его. Ему трудно дышать; у него болят челюсти; у него противно во рту от всунутого платка. И он старается делать языком и зуба-

ми осторожные движения, чтобы как-нибудь освободиться от этого платка. Но нет, видно ничего не поделаешь!

Он начинает сердиться на то, что никак не может помочь себе. Он сердится на этот несносный платок и снова придумывает всякие хитрости, как бы каким-нибудь образом освободиться от платка. Все его мысли и все его чувства поглощены этой работой.

Ему уже начинает казаться, что и дело-то все в одном только платке, что стоит от него освободиться и тогда все кончено, тогда не останется ничего больше страшного и дурного. Потом он вдруг начинает думать о том, что же дальше будет? Но он не думает о своей будущности, а думает только о том, что будет через минуту, через пять минут, через час. Куда его повезут и как повезут? Неужели в одеяле? Ведь, холодно, мороз, да и неприлично. «Нет! Что-нибудь да сделают, непременно сделают!» — успокоительно заканчивает он и только ждет с любопытством.

Он уже о платке позабыл, как-то привык к этому неприятному ощущению во рту...

Его снесли вниз, в караульную. Сняли с

него одеяло и закутали солдатской шинелью.

— А! Солдатская шинель, — подумал он. — Как же это я не догадался? Конечно, в солдатскую шинель должны закутать, во что же больше? Так будет теплее! Только вот как ноги?

Но о ногах регента никто не подумал, он так и остался босиком. Солдаты вынесли его на улицу, тут дожидалась подъехавшая карета Миниха, его посадили в карету. С ним сел офицер.

— Куда? — спросил кучер.

— В Зимний дворец! — отвечал офицер, захлопывая дверцу.

Карета уехала, и даже пьяный мастеровой не встретился ей на дороге.

Никто не знал и не подозревал, в каком странном маскарадном костюме проехался этой морозной ночью регент Российской Империи. Только солдаты, стоявшие группами около Летнего дворца, тихомолком послали ему свои неособенно любезные приветствия...

Герцогиня Курляндская, закрывшись с головой в одеяло, продолжала визжать все время, пока происходила борьба в спальне. Она

перепугалась до того, что почти обезумела. Она слышала бряцанье оружия, слышала крики своего мужа, понимала, что его хватают, расслышала или, вернее, почувствовала, как он упал, как замолк, но она не решилась выглянуть из-под своего одеяла.

«Он молчит, не кричит больше, должно быть, его убили!» — И она сама перестала визжать, и лежала неподвижно, ожидая, что вот, вот, сейчас, и ее убьют. Но, может быть, ее не заметят! Надо лежать тише! И она совсем притаила дыхание.

«Уходят из комнаты! Все тихо». — Она взглянула: — «никого нет!» На полу, у постели, оторванный кусок рубашки герцога: — «что же это такое?»

Сама себя не помня, с выкатившимися страшно глазами, она кинулась из спальни, бежала по комнатам в одной рубашке и босиком, выбежала из дворца.

Солдаты, толпа... но она их не боится, она ничего не помнит; она забыла в каком она виде, не чувствует холода.

Подъезжает карета, в карету сажают кого-то. Она угадала, что это муж ее, и она бе-

жит по двору, по снегу босыми ногами за ворота. Хочет кинуться к карете. Но какой-то солдат бросается и схватывает ее.

Она опять кричит и отбивается. Она вцепилась зубами в руку солдата, но солдат ни на что не обращает внимания и тащит ее.

— Что прикажете с нею делать? — спрашивает он, подтаскивая герцогиню к Манштейну.

— Отвести во дворец, — отвечает Манштейн и спешит скорей к Миниху за приказа- ниями.

Герцогиня продолжает кричать и кусаться.

— Отвести во дворец! — ворчит солдат. — Легко сказать, да как это я сделаю? И в какой дворец? Назад, что-ли, али туда, в Зимний?.. Карета-то вон, вишь, уехала, а другую где теперь взять? Что же, это, значит, на своей спине везти? Ишь, злющая, как вцепилась! Зубы-то! Зубы-то... вон до крови прохватила. Э, да где же с ней тут возиться!

Не долго думая, он отшвырнул ее от себя и быстро скрылся.

Несчастливая герцогиня упала на кучу снега. Она уже перестала кричать. Она дрожала

всем телом и, наконец, потеряла сознание. Долго так лежала она, раздетая, на снегу, пока, наконец, один из офицеров не подошел к ней. Он ужаснулся, увидя ее в таком положении, и крикнул солдатам.

Солдаты сошлись и окружили ее. Она не шевелится. Что же, сейчас, пожалуй, станут издеваться над нею? Да и как не издеваться! Теперь она бессильна. Еще, несколько часов тому назад, она мнила себя чуть что не императрицей; она протягивала свои руки для поцелуев сановникам и принцам; она была олицетворением человеческой гордости и тщеславия. По одному ее слову всех этих солдат и этого офицера расстреляли бы. Но теперь она бессильна! Она лежит обнаженная на снегу и только слабая дрожь, по временам пробегающая по ее членам, показывает, что она еще не умерла, еще дышит.

Ее все ненавидели, все, кто знал и кто даже не знал ее. Никто не говорил о ней ни одного доброго слова, так как же теперь не издеваться над ней! Но, между тем, ни офицеры, ни солдаты не стали издеваться.

— Ах, Боже мой! — смущенным голосом

проговорил офицер. — Посмотрите, ради Бога, жива ли она? Ведь, как, бедная, выбежала! В одной рубашке! Этак схватит смертельную болезнь!

— Да! Ночка-то морозная и замерзнуть недолго! — говорит один солдат.

— Так возьмите ее скорей, разотрите, оденьте, снесите во дворец. Да бережней поднимайте! Скорей, давайте шинели! Нельзя же так! Ведь, в самом деле замерзнет!

Солдаты бережно подняли герцогиню, скинули с себя шинели, закутали ее и понесли обратно во дворец растирать и одевать. И никто не встретил их в пустых комнатах. Фрейлены и камеристки герцогини, вся многочисленная прислуга, все, даже «дуры» и карлицы, попрятались, кто куда мог, и недодавали никаких признаков жизни.

XII

— Юлиана, куда же ты ушла? Вернись, останься со мною! Не отходи от меня! — повторяла Анна Леопольдовна, следуя за Менгден, которая вышла было, чтобы причесаться и одеться.

Юлиана вернулась. Принцесса взяла ее за

руку и крепко держала, не выпускала.

— Боже мой! Что — то там такое? Посмотри на часы! — шептала она. — Как долго идет время! Что там делается?

Юлиана взглянула на часы: — Еще рано. Всего пятый час в начале.

— Успокойся, ради Бога! — сказала она принцессе. — Разве в один час можно повернуть все это дело?! Теперь, того и жди, вернется фельдмаршал и уж, конечно, наверное все благополучно: иначе он дал бы знать.

— Ах, нет! Боюсь, Юля, боюсь ужасно! Ведь, Бирон всегда был подозрительным человеком, а уж теперь с этими заговорами, конечно, принял все меры. Схватили нашего фельдмаршала, адъютанта его и всех солдат перехватили... Что ж теперь будет?

Принцесса заплакала.

Менгден не знала, что и делать с нею.

Она стала всячески ее успокаивать, но ничто не помогало.

Принцесса выпустила руку своего друга, бросилась на ковер, закрыла лицо руками и стала молиться, но молитва не успокаивала. Каждая минута казалась ей чуть ли не часом.

— Что это? Что? Юля, поди посмотри!

Юлиана выбежала из комнаты и через несколько секунд вернулась с радостным лицом.

— Все, слава Богу, благополучно! — почти закричала она. — Регент здесь!.. Схвачен... Миних идет с докладом... и уже не оттуда, не через гардеробную, а парадным ходом.

Анна Леопольдовна схватилась за сердце, так оно вдруг шибко забилося.

Неужели такое счастье? Или, может быть, Юлиана обманывает? Но нет, вот и сам фельд-маршал. На его сухом, красивом лице изображается торжество. Он, улыбаясь, подходит к принцессе. Она протягивает ему руку, она его обнимает и плачет.

— Поздравляю, ваше высочество, все благополучно!

— Друг мой! Голубчик! Я уж и не знаю, как благодарить вас, — всхлипывает Анна Леопольдовна на плече Миниха, — как же это? Что же было? Скорей... скорей рассказывайте!

— Так он здесь, здесь в караульне? — вдруг забывая свои волнения и слезы, радостно всплеснула руками Анна Леопольдовна и да-

же подпрыгнула, как ребенок. — Здесь? И не вырвется?

— Где уж теперь вырваться! — улыбнулся Миних.

— Но постойте! Погодите! — вдруг опять тревожная мысль промелькнула в голове принцессы. — Ведь, солдат мало, вдруг его вырвут его приверженцы?

— Какие же приверженцы? — спросил фельдмаршал. — Мало что-то он нажил себе приверженцев! К тому же, я обо всем подумал. Все, кого можно опасаться, теперь, наверно, тоже уже арестованы. Я послал Манштейна к Густаву Бирону, а другого своего адъютанта, Кеннигфельса, к Бестужеву. Не бойтесь, никто от нас теперь не уйдет.

Анна Леопольдовна окончательно успокоилась и с несвойственной ей живостью отдалась порыву вдруг нахлынувшего на нее счастья.

Она то пожимала руки Миниху, то бросалась на шею Юлиане.

— Боже мой! Чем мне заплатить вам за это? Как мне отблагодарить вас?

— Теперь об этом нечего думать, — спокой-

но проговорил фельдмаршал, — теперь следует заботиться только об одном: получше, покрепче вам устроиться. Да еще нужно скорее объявить принцу, а то он до сих пор, кажется, ничего и не знает.

— Ах, об нем-то я совсем и позабыла! — самым наивным тоном сказала принцесса. — Да, конечно, нужно объявить ему. Поди, Юлиана, заставь его подняться, приведи сюда.

Миних на мгновение задумался.

— Так вот что, принцесса, — наконец, сказал он, — вы подождите здесь принца. Объявите ему сами, объявите, что по всеобщему желанию вы будете правительницей, а я сойду опять вниз. Я не думаю, чтобы принц стал с вами спорить... но если понадобится вам, то вернусь.

— Оставайтесь, оставайтесь, — торопливо перебила Анна Леопольдовна, — лучше вы ему скажите, вы лучше скажете.

— Нет, мне неловко, — решительно возразил Миних, — я выйду.

И не слушая возражений принцессы, он быстро скрылся из комнаты.

Через несколько минут, в сопровождении

Юлианы Менгден, показался принц Антон.

— Зачем вы меня подняли? — обратился он к жене, изумленно посматривая на ее сияющее, счастливое лицо своими заспанными, несколько опухшими глазами.

— Кое-что случилось... Вы себе спали, а, между тем, фельдмаршал граф Миних арестовал Бирона. Бирон теперь внизу...

— Не может быть! — даже попятился от изумления и стал протирать себе глаза принц Антон. — Не может быть! Что это за шутки неуместные!

— Не шутки, а правда. Проснитесь! — сказала принцесса.

Принц Антон, наконец, понял, что его не обманывают, понял, что случилось то, о чем он не смел и грезить еще за несколько минут перед этим. Он хотел кинуться вниз в карaulьню, чтоб собственными глазами увидеть сверженного регента, но жена его остановила.

— Зачем вы пойдете? Куда? Оставайтесь лучше здесь — потолкуемте хорошенько.

Он покорно остановился и задумался.

— Как же теперь? Кто ж теперь всем

управлять будет? И каким это образом такое дело сделано без моего участия? Каким образом мне даже никто и не заикнулся об этом? Что же я-то такое тут? — начинал он разгораться. — Разве я не отец императора?!

— Конечно, отец, — отвечала принцесса, — но, ведь, и я тоже мать его и родная внучка царя Ивана Алексеевича. Мои права были поруганы Бироном и вот я приказала арестовать его. За меня войско, за меня весь народ русский! С сегодняшнего дня я правительница России до совершеннолетия моего сына.

Принц Антон окончательно уже проснулся.

— А, так вот как! Вы без меня обошлись! Может быть, и меня прикажете арестовать, ваше высочество?

— Перестаньте говорить вздор, — очень серьезно заметила Анна Леопольдовна. — Я намерена предоставить вам всевозможный почет, одним словом сделать все вам угодное, только надеюсь, что вы не станете со мною бороться. Недоставало еще, чтобы между нами начались ссоры! Успокойтесь лучше! Предоставьте мне быть правительницею, а

себе возьмите самую спокойную жизнь, какую можно только представить — вам будет гораздо лучше!

Принц чувствовал себя глубоко оскорбленным, но в то же время все мучения, которые должен он был пережить до этого утра, совершенно его расстроили и сломали всю его небольшую энергию.

«Что же, — подумал он, — дело уже сделано, да, может, так и лучше, меньше ответственности, меньше опасности. Пускай их управляют, как знают».

Он снова взглянул на жену, подошел к ней и протянул руку.

— В таком случае, позвольте вас поздравить, ваше высочество! — шутливым тоном с улыбкой сказал он, целуя руки Анны Леопольдовны. — Препоручаю себя вашим милостям.

Она прикоснулась губами к его лбу и шепнула:

— Да! Так-то лучше!

Она стала ему рассказывать все подробности этой ночи.

Юлиана вышла объявить Миниху, что все

сошло благополучно.

Фельдмаршал сейчас же явился, рассыпался в любезностях перед принцем, был до такой степени почтителен и любезен, что бедный принц Антон окончательно примирился со своим второстепенным положением и от всего сердца благодарил Миниха.

Долго они сидели и толковали.

Уже светать начинает, пора за работу — впереди еще много дела.

— С чего мы теперь начнем? — спросила принцесса. — Да, конечно! — сейчас же вспомнила она. — Прежде всего нужно послать за Остерманом.

— Он болен, — проговорил Миних.

— Что ж такое что болен? Он всегда болен, но теперь нужно, чтоб он немедленно сюда явился. Разве без него обойтись можно? Он сейчас все устроит. Он сейчас увидит, где есть опасность, которую мы в нашей радости может не заметить. Конечно, скорей!.. скорей за Остерманом!

— Пожалуй! — проговорил Миних.

Он сошел вниз и послал сказать Остерману, что принцесса просит его немедленно

явиться к ней в Зимний дворец...

XIII

Граф Андрей Иванович Остерман с самого чрезвычайного заседания, созванного Бироном, того заседания, где так смутили и распекли бедного принца брауншвейгского, не выходил из своей комнаты. Он уже тогда, вернувшись домой, сказал жене, что теперь ему придется быть долго больным, потому что в воздухе носится что-то неладное. Регент торжествует: брауншвейгские унижены, но это еще ровно ничего не значит.

И вот Андрей Иванович, сидя запершись в четырех стенах, пустил в ход все свои тайные средства для того, чтобы хорошенько понять положение дела и узнать, что теперь ему предпринять следует.

По вечерам через кухню в его кабинет прокрадывались какие-то фигуры, то будто мужик, то будто баба. Но этот русский мужик говорил с ним на чисто немецком языке; у бабы появлялся совершенно мужской голос.

Андрей Иванович внимательно выслушивал своих тайных посетителей и, мало-помалу, начинал понимать в чем дело. Он знал,

что торжество Бирона минутно, что народ и войско его ненавидят, понимал, что скоро нужно его будет уничтожить. Кто же его уничтожит? Конечно, он, Андрей Иванович, и, конечно, так что сам будто в стороне останется. Ему уже не в первый раз решать судьбу России: много лет, с самой смерти Петра Великого, он привык все делать по своему, никому о том не говоря, ни с кем не советуясь.

Он в эти последние дни решал новую задачу. Он знал, что можно действовать и в пользу брауншвейгских, и в пользу цесаревны Елизаветы, и аккуратно, во всех подробностях, высчитывал все выгоды того и другого решения.

Он весь был погружен в эту работу, никого не принимал. Жена его всем сказывала, что Андрею Ивановичу совсем теперь худо, что даже и ее к себе не впускает.

Теперь Андрей Иванович мирно спал. Он всегда засыпал только под утро, так как с вечера и большую часть ночи его мучила нестерпимая подагра.

Но сквозь чуткий сон вдруг слышит он, как скрипнула дверь его спальни! — он от-

крыл глаза — перед ним жена.

— Матушка, что это ты? — недовольным голосом заворчал он. — Уснуť мне нынче на даешь? Сама спозаранку встала, выпалась, а, ведь, я только что задремал. Чего дверьми-то хлопаешь?

— Не хлопала бы без дела, — ответила графиня, — вставай, Андрей Иванович, гонец из Зимнего, принцесса зовет тебя как можно скорее по очень важному делу.

Андрей Иванович поднял голову с подушек.

— Ни за что не поеду, матушка, ни за что! Бог с тобой! И будить меня не следовало из-за этого. Сама знаешь, не поеду. Как можно теперь ехать! Как можно во что-нибудь вмеши-ваться! Нет, нет, поди, сама выйди к гонцу, скажи, что я болен, шевельнуться не могу, не только что ехать... Пусть извинят... Не могу! Не могу!

Графиня вышла передать гонцу этот ответ, а Андрей Иванович задумался.

«Это что еще такое? Что там у них? Набра-ли, видно, кой-кого, опять заговор делают, ну, так не мое это дело! Я чужих глупостей не

участник! Как нужно будет, сам съезжу, а теперь ни!.. Теперь я болен».

Он повернулся к стенке и снова задремал.

Но хорошенько выспаться не удалось ему в это утро. Не прошло еще и часу, опять входит графиня и говорит, что снова прислан из Зимнего, да уже не гонец простой, а генерал Стрешнев, ее брат двоюродный.

— Что такое? Ну, позови его сюда.

Вошел Стрешнев.

Андрей Иванович со стоном протянул ему руку.

— Батюшка, Андрей Иваныч, — заговорил Стрешнев, — вставай, одевайся, едем во дворец!

— Ах! Куда мне! Ведь, уже сказал, что болен, не могу!

— Все это очень хорошо, — перебил его, улыбаясь, Стрешнев, — но сам знаешь, что есть такие обстоятельства, которые, заставляют даже всякую болезнь перемочь. Одевайся!

— Не могу! Не могу! — повторял Остерман.

— Ан можешь! Ан поднимешься! — продолжал улыбаться Стрешнев. — Хочешь об заклад биться, что встанешь? Скажу одно слово

такое и встанешь.

— Да что такое? Что ты? — уже оживленнее спросил Остерман. — Какое такое слово?

— А вот какое: в караульне Зимнего дворца сидит один человек, и видел я того человека своими глазами, и человек тот... Бирон. Регент сидит в караульне. Слышишь?

— Что ты! — вскочил с кровати Остерман, даже совсем позабыв про свои больные ноги. — Что ты? Неужто? Ach, mein Gott!..

— Братец, пойдем, зайди ко мне на минутку, пока он будет одеваться, — обратилась графиня к Стрешневу и увела его из спальни мужа. Она знала, что теперь надо оставить Андрея Ивановича одного, надо дать ему хорошенько подумать, не мешать.

Андрей Иванович сидел на кровати.

Никогда еще в жизни никакое известие так не поражало его, как то, какое привез сейчас Стрешнев.

Он дни целые и ночи, почти напролет, все обдумывал, все решал, а тут хватить, без него сделали! Его не спросились, да и сделали-то удачно!

Горькое, обидное чувство шевельнулось в

Остермане.

«Стар, что ли, я становлюсь? — с ужасом подумал он. — Другим уступаю дорогу. Стрешнев сказал, что это все Миних! А вот Миниха-то я и проглядел, за ним-то и не следил! Эх, я, старый дурак! — с каким-то наслаждением выбранил себя Андрей Иванович. — Ну, что же теперь... теперь не вернешь! Теперь нужно в пояс кланяться господину Миниху. Да, нужно, нужно туда поехать, нужно осмотреться. Да оно и ничего, пожалуй, иной раз бывает удобнее загребать жар чужими руками, своих не обожжешь, а жару загрести надо!»

И с этой успокоительной мыслью, представившей ему обширное поле для новой деятельности, Андрей Иванович стал поспешно одеваться.

Два лакея снесли его в придворную карету, в которой приехал Стрешнев. Лакеи снесли его и в покои принцессы Анны Леопольдовны.

Она сама подставила ему кресло, а он с жаром целовал ее руку и рассыпался в поздравлениях. Поздравлял он также и фельдмарша-

ла Миниха, восхищался его смелостью и мужеством и всеми силами старался казаться самым довольным человеком, очастливленным этим событием. Одно только его раздражало: глядя на Миниха, он понимал, что тот только делает вид, что принимает за чистую монету его любезности, а в глубине души своей жестоко теперь смеется над ним и дразнит его.

«Ничего, торжествуй себе! Торжествуй! — успокаивая себя, думал Остерман, — Еще посмотрим, чем все это кончится! Долго ли ты продержишься? Может быть, ты захочешь теперь совсем от меня отделаться? Да нет! Я хоть и промахнулся, а все еще жив и голова моя со мною...»

Анна Леопольдовна обратилась к Андрею Ивановичу за советом: что им теперь делать?

Он начал говорить, начал высказывать свои предположения, но каждый раз обращался к Миниху и спрашивал его, согласен ли он с ним.

Миних утвердительно кивал головою, а сам думал: «вертись, Андрей Иванович, вертись! А все же вот мы и без тебя обошлись. Не

у одного тебя голова на плечах, нашлись и другие...»

Вернувшись домой, Остерман снова лег в постель и весь тот день был ужасно не в духе. Теперь ему даже было больно не за себя. Он знал, что себе-то он еще все устроит. Даже его оскорбленное самолюбие смирилось перед мыслью, что Анна Леопольдовна будет признавать своим благодетелем не его, а Миниха. Он знал, что, может быть, сумеет еще совсем изменить мысли принцессы относительно благодеяний фельдмаршала. Его раздражало и мучило то, что, того и жди, теперь померкнет ореол, окружавший его в глазах всей Европы, до сих пор думавшей, что ни одно великое событие, ни один переворот в России не может устроиться помимо его, Остермана.

И в Европе, действительно, так думали, а в первые дни по свержении Бирона даже и весь Петербург считал Остермана хоть тайным, но действительным виновником гибели регента. Маркиз де-ла-Шетарди писал своему королю:

«Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокры-

тию тайн, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда. Верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана».

Но скоро Андрей Иванович себя успокоил. Он весь отдался злобе дня, устраиванию своих дел, приготовлению ответного удара Миниху. Один только раз еще его уязвленное самолюбие сильно заняло. Это было тогда, когда он получил из Константинополя от Румянцева такое послание:

«Что касается до той, с Богом начатой перемены, не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели и яко едиными усты Богу моление принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына отечества российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено».

Андрей Иванович порывисто скомкал это письмо, а когда его жена любопытствовала узнать, что пишет Румянцев, то он совсем не мог сдержать себя и закричал на нее, чтобы

она не смела трогать и убиралась.

А он со своей графиней жил душа в душу и даже в самые свои трудные минуты относился к ней с нежностью и не иначе называл ее как «mein Herzchen».

XIV

Расставаясь с фельдмаршалом, Анна Леопольдовна сказала ему, чтоб он немедленно занялся списком наград. Она была так взволнована всеми событиями этой ночи, что сама отказалась распределять награды и вполне полагалась на фельдмаршала.

— Только, пожалуйста, чтобы все были довольны, — прибавила она, — я хочу, чтобы первый день нашего торжества был радостным днем и для всех, кто не враг наш.

Миних, вернувшись домой, призвал своего сына и барона Менгдена, председателя коммерц-коллегии.

— Приготовь бумагу, я буду тебе диктовать, — сказал он сыну.

Затем было приступлено к составлению списка.

— Пиши, — сказал Миних, — во-первых, о том, что принцесса Анна Леопольдовна про-

возглашается правительницей вместо Бирона и возлагает на себя Андреевский орден, а меня жалует в генералиссимусы.

— Батюшка, — заметил Миниху его сын, — о тебе я писать не стану.

— Это еще что такое? — даже вскочил фельдмаршал со своего кресла.

— А то, что звание генералиссимуса, наверное, пожелает принц Антон и, конечно, тебе не следует начинать неприятными отношениями с принцем.

Миних задумался на минуту и сообразил, что он, действительно, хватил через край и что сын совершенно прав.

— Да, спасибо, что остановил. Ты правду говоришь, но что же мне-то?

— А тебе самое лучшее просить звание первого министра.

— Хорошо, помирюсь и на этом! Но, ведь, и тут есть возражение: нам не следует обижать Остермана, а Остерман, наверное, обидится, он не захочет терпеть над собою первого министра.

— Так следует повесить и Остермана, — заметил Менгден.

— Но как же? Как? — задумался Миних.

И вот он вспомнил, что Остерман давно уже намекал о своем желании быть великим адмиралом.

— Да, да! — оживленно обратился Миних к сыну. — Сделаем Остермана великим адмиралом. Звание это почетное, но для меня не опасное, стеснять меня не будет!

— Кто знает, будет ли доволен Остерман этим назначением, — сказал Миних — сын, прерывая свою работу, — я так думаю, что ему больше захочется быть великим канцлером.

— Мало ли что захочется! — быстро отвечал фельдмаршал. Мало ли что захочется! Конечно, мы должны постараться предоставить ему очень почетное звание, должны избежать вражды с ним, но слишком далеко пускать его все же не следует. Не следует забывать, что сегодняшняя ночь не его рук дело, а моих. Так неужели же мне не воспользоваться этим? Пустить Остермана в великие канцлеры, да это совсем связать себе руки, отказаться от дел иностранных, а я вовсе не намерен отказываться от них. Нет! По моему, ве-

ликим канцлером нужно назначить князя Черкасского.

— Князя Черкасского? — изумленно отозвался Менгден. — Да, ведь, его отношения к Бирону всем, кажется, нам известны и по этим отношениям его наказать следует, сослать, а не награждать таким образом.

— Ну, с этим-то я не согласен! — сказал Миних, — мало ли кто был в хороших отношениях с Бироном, потому что не быть с ним в хороших отношениях — значило губить себя. Нет, я стою на Черкасском, он такой человек, который никому не будет мешать, он будет на своем месте.

Дальнейшая работа совершалась без перерыва, и скоро список наград был готов.

С этим списком сын Миниха отправился к принцессе. Сам же фельдмаршал поручил ему сказать, что будет во дворце часа через два, так как совсем выбился из сил и должен вздремнуть немного.

Он, действительно, было заснул, но тотчас же и опять проснулся в волнении.

«Нет! Теперь не до сна, мне нужно быть там, нельзя терять ни минуты. Нельзя допус-

кать, чтобы кто-нибудь воспользовался чем-либо без моей воли, чтобы кто-нибудь перебил или ослабил мое влияние на принцессу».

Он вместо сна только освежил свою уставшую голову холодной водой, выпил рюмку вина и поехал вслед за сыном.

Было уже около полудня. На улицах много народу. Сразу заметно необычайное движение, весть о ночном событии уже облетела город. Шли толки, расспросы; многие не верили. Толпы народа стягивались к дворцам, но их разгоняли, объявляя им, что нечего глядеть, что нет никакого парада, ни торжества.

Многие послушно удалялись и шептали друг другу.

— И то, уйдем — ка по добру по здорову! Мало ли что болтают! Может, и точно ничего нет; может, сидит он там спокойно и в ус не дует! Так, ведь, как бы нам застенка не понюхать.

Но находились и такие, что удалиться не были в силах; неудержимое любопытство, сознание чего-то важного, совершившегося, тянуло их ко дворцам.

Они пристально всматривались в каждую

проезжающую карету. Скоро карет стало показываться довольно много и все по направлению к Зимнему дворцу.

— Ну, как же ничего нет, конечно, есть, — толковали люди. — Кабы ничего не было, так к Летнему, а не к Зимнему дворцу ехали бы.

В одной из карет народ заметил цесаревну Елизавету.

Она выглянула в открытое окошко кареты, прекрасное, только немного как будто бы бледное сегодня, лицо ее было спокойно.

Встречные люди снимали шапки, и она с доброй улыбкой кивала всем головою.

Ее появление произвело не мало толков. Были люди, которые, глядя на нее, говорили и думали:

«Эх, матушка, царевна, чай, ведь, ты думала, что скоро к тебе все поедут на поклон, а сама на поклон опять едешь?»

Но таких людей было очень мало. Многие, напротив, и открыто выражали свою глубокую жалость к положению цесаревны.

«Не ей бы ехать, — говорили они, — а к ней бы спешить всем поздравлять ее со вступлением на престол родительский, целовать ее

золотую, царскую ручку!»

Но она была спокойна.

Своей легкой, грациозной поступью вышла она из кареты у Зимнего дворца и прошла в покои Анны Леопольдовны.

У принцессы было уже много народу, все, кого она считала из своих: Миниха, Менгдена, Остермана, Левенвольде.

Были здесь и адъютанты фельдмаршала, Манштейн и Кенигфельс, оба деятельные участники ночного предприятия.

Все чувствовали себя очень хорошо. Все были бодры, довольны, велись оживленные разговоры на немецком языке.

Цесаревна на мгновение остановилась и невольно вздрогнула. Ни одного близкого, ни одного дружеского лица не видела она среди этого счастливого общества. Все это были люди совершенно чуждые ей по всему; был тут и личный враг ее: старый хитрый Остерман, которого когда-то, в первые дни своей юности, она считала другом, и который всю жизнь только и делал, что вредил ей, отстранял ее.

Но цесаревна сейчас же сдержала волнение и снова вызвала на лицо свое любезную

улыбку.

Она подошла к Анне Леопольдовне, поклонилась ей и даже совершенно свободно, ни на секунду не изменившись в лице, поцеловала у нее руку, как у правительницы.

— От всего сердца радуюсь этому событию, — сказала она и прибавила вполголоса, — но только, сестрица, оно не было для меня новостью: в последний раз вечером у Бирона я слышала несколько фраз из вашего разговора с фельдмаршалом.

Миних стоял за стулом Анны Леопольдовны. Он слышал, что говорила цесаревна и невольно взглянул на нее с изумлением.

И у него, и у Анны Леопольдовны разом мелькнула мысль, что если она слышала этот разговор, — а что она слышала, в этом не может быть никакого сомнения, иначе откуда же бы она о нем узнала, — то, ведь, она очень легко могла бы погубить их. Она была в хороших отношениях с Бироном, она могла тут же, сейчас рассказать ему об этом разговоре, и весь план Миниха был бы разрушен. Но она никому ничего не сказала, она молчала и своим молчанием помогла им.

Ни Миних, ни Анна Леопольдовна не могли считать ее искренно расположенною к новой правительнице, следовательно, ее поступками руководил расчет. Но какой бы ни был этот расчет, она все же оказала услугу, а сама теперь для них совершенно безвредна.

Анна Леопольдовна крепко сжала руку Елизаветы и взглянула на нее ласково.

Цесаревна сказала еще несколько любезных, приличных фраз и отошла к принцу Антону.

Она сделала свое дело.

После того, что она объявила, авось, посовестятся теснить ее, авось, дадут ей спокойно прожить хоть первое время и без помехи приготовить все, что нужно.

«А, ведь, ей теперь это самое важное!» Пусть же смотрят на нее с пренебрежением, пусть она всем здесь чужая, ненужная; ведь, и ей здесь все тоже чужды и не нужны, и никогда не понадобятся.

Вот она села поодаль и наблюдала, как все счастливы и довольны, как во всех говорит честолюбие, какие все строят планы.

На нее никто не глядит, никто не считает

необходимым даже обратиться к ней с самой пустой любезной фразой. Ничего, пусть! Тяжелая жизнь, многие несносные обиды, многие унижения могли бы ожесточить сердце Елизаветы. Глядя на нее теперь, можно было бы, пожалуй, подумать, что много злого чувства кипит в ней, что с полной ненавистью глядит она на Анну Леопольдовну, на Миниха, Остермана и всех этих Манштейнов, что она мечтает о мести, строит жестокие планы, но ничего этого в ней не было.

Конечно, она знала, что если удастся ей добиться своего законного наследия, она удалит от себя всех врагов своих, но мучить и пытаться их не станет, ненависти ни к кому нет в ней. Ей только обидно и больно смотреть на двух главных врагов ее: на Остермана и Миниха, и больно ей только потому, что она дочь Петра, который был их благодетелем и которого они отблагодарили тем, что пренебрегли его родною, любимую дочь. Но даже и эти горькие ощущения скоро исчезли, и цесаревна отдалась своему живому характеру: вдруг, все присутствующие начали казаться ей комичными. Она подмечала все их смешные сторо-

ны, она думала о том, как, вернувшись к себе, будет смеяться с Маврой Шепелевой, рассказывая ей обо всем, что видела здесь и слышала.

А, между тем, перед нею совершалось дело первой важности: распределялись награды.

Список Миниха был немедленно утвержден принцессой. Пожалованные подходили и целовали руку Анны Леопольдовны.

Затем началось совещание о том, что делать с Бироном и его семейством.

— Ведь они все еще здесь, внизу, — сказал Миних, — а семейство его в Летнем под караулом. Я полагал бы, что самое лучшее немедленно перевезти всех в Александровский монастырь, а потом отправить в Шлиссельбург.

Принцесса согласилась с этим.

Говорили о том, что нужно будет потребовать от Бирона всевозможные разъяснения, нужно будет нарядить следствие и т. д.

Затем Миних объявил, что все близкие к Бирону люди тоже уже схвачены: Бестужев-Рюмин, братья Бирона, Карл и Густав, и генерал Бисмарк.

— А что жена Бестужева? — спросила Анна

Леопольдовна.

— О Бестужевых пускай вам доложат мои адъютанты, — отвечал Миних. — Я посылал их, по желанию вашего высочества, и господин Манштейн вот только что вернулся.

— Госпожа Бестужева, — сказал Кенигфельс, — была в ужасном отчаянии, когда я к ней приехал. Я спросил ее, хочет ли она следовать за своим мужем, она отвечала, что хочет, но так плачет, в таком отчаянии... Я всячески уговаривал ее, уверял, что ничего дурного не будет ее мужу.

— Ну, это хорошо! Там выяснится, будет ли ему дурно, или нет, — заметил Миних. — А сам Бестужев как? — обратился он к Манштейну.

— Я сказал ему, — ответил Манштейн, — что ее высочество приказала послать его в ссылку недалеко. Он стал просить меня, нельзя ли ему видаться с вашим сиятельством, но я сказал, что никак это невозможно, потому что вы очень заняты. Тогда он даже заплакал. «Попросите, — говорит, — фельдмаршала, чтобы он меня не оставил, а помнил то, что и сам он состоит в дирекции Божией, как сам

видит это из моей судьбы: вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант!»...

— Конечно, ужасно, когда происходят такие перемены с людьми, — заметила Анна Леопольдовна, — но, ведь, кто же виноват? Нельзя же нам награждать врагов наших, избавлять их от должного наказания! Только, во всяком случае, господа, — обратилась она ко всем присутствовавшим, — я не намерена начинать жестокостями. Я хочу, чтобы дело Бирона и его сторонников разбиралось без всякого пристрастия и им была бы оказана возможная милость, и я надеюсь, что вы в этом согласны со мною?

— Да, слишком много было жестокостей, слишком много казней и пыток, нужно, чтобы Россия отдохнула от всего этого! — совершенно невольно и не обдумывая, какое впечатление произведут ее слова, проговорила цесаревна Елизавета.

— Конечно, да! Я с вами согласна, сестрица, — горячо ответила ей Анна Леопольдовна. Наконец, все начали расходиться.

У каждого было много дела, нужно было созывать синод, министерство, генералитет.

На следующее утро городу было объявлено о совершившемся. Всюду читали манифест, подписанный синодом, министерством и генералитетом.

В манифесте, от имени императора Иоанна III, объявлялось, что «хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог Курляндский, но ему велено было свое регентство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам, и особливо велено, не токмо о дражайшем здравии и воспитании нашем попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного того исполнения, он дерзнул не токмо многие, противные государственным правам, поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочтение и презрение публично оказывать и притом с употреблением непристойных угроз и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которыми не токмо любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой и благополучие Империи нашей, в опасное состояние приведено быть могли бы

и потому принужденными себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных, духовного и мирского чина, оного герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оное правительство поручить нашей государыне матери».

Никто не противоречил. Все, начиная от высших сановников и кончая простыми петербургскими жителями, приняли важную новость довольно равнодушно. Покуда еще не знали в чем дело — любопытствовали, толковали, а узнали и затихли. И это должно было казаться очень многозначительным наблюдающим людям.

Бирон снискал себе всеобщую ненависть; его регентство началось пытками, при нем народ мог ожидать всевозможных бесчинств и жестокостей. И вот этот Бирон свержен, Россия отдается в руки матери императора, правнуку царя Алексея Михайловича. Многие в гвардии довольны, да и в народе по временам тоже слышно, что кому же и управлять страною, как не родителям императора, а из родителей должна, конечно, быть правительни-

цею мать, происходящая от царского русского корня, а не отец — принц иноземный.

А, между тем, несмотря на все эти рассуждения, все же не заметно особенной радости, торжества и веселья. Событие признано молчаливо, значит, есть же какая-нибудь важная причина, есть что-нибудь, что мешает русским людям успокоиться. И все это понимают, и все это чувствуют, только многие еще не могут дать себе ясного отчета: отчего все это происходит. Но пройдет немного времени, и этот отчет будет дан, и окажется, что мудрые делатели переворотов все же были близоруки и не понимали страны, которою хотели распоряжаться по своему, и окажется, что лучше всех их поняла народные чувства и народные желания забытая, унижаемая красавица, легкомысленная насмешница, какою многие ее считали. Она поняла народ русский, его чувства, надежды и мечтания, поняла потому, что сама составляла одно целое с этим народом. Она знала, что народ не успокоится до тех пор, пока власть не перейдет в Петрово потомство, пока не совершится законная справедливость, по которой создан-

ное человеком должно принадлежать этому человеку и его прямым наследникам.

И вот, забытая и униженная красавица в то время, как друзья ее охали и ахали, толковали о том, что пропущено самое подходящее время, что совершена важная ошибка, только посмеивалась над своими друзьями и была спокойна, была уверена в своей силе больше чем когда-либо.

«Эх, фельдмаршал, — думала она, встречаясь с Минихом, — как вы теперь важны и счастливы! Только берегитесь, как бы вас в Бироны не записали!»

Но фельдмаршал ничего не боялся. Его честолюбие било радостную тревогу. Он чувствовал себя у пристани. Над ним уже начинал совершаться какой-то общий закон, по которому человек, чувствующий себя на высоте успеха, становится сам себе врагом и делает губительные промахи.

Миних, действительно, начал свое торжество с большой неловкости.

Императорский указ, появившийся вслед за манифестом, начинался таким образом:

«Всемилоостивейше пожаловали мы любез-

нейшему нашему государю-родителю быть генералиссимусом и хотя генерал-фельдмаршал, граф фон-Миних, за его к Российской Империи оказанные знатные службы, и что ныне он уже первый в Российской Империи командующий генерал-фельдмаршал и в коллегии военной президент к пожалованию бы сего знатного чина надежду иметь мог, токмо во всенижайшем к вышеупомянутому его высочеству почтении от сего чина отрекается».

Этот указ был сочинен самим Минихом, и никто не мог внушить ему, что подобное объяснение своих прав на звание генералиссимуса и очень бестактно, и очень обидно для принца Антона.

Принц Антон не только что обиделся, но положительно возненавидел Миниха. Он поклялся доказать ему, что несмотря на то, что его отстранили и считают таким бессильным, и обижают даже в указах, а он все же сделает свое дело: Миних не долго будет торжествовать. Принц Антон знал, что ему одному трудно будет этого достигнуть, но у него оказывался сильный помощник, тоже оскорбленный Минихом, граф Андрей Иванович Остер-

ман.

С ним-то принц Антон и начал горячую дружбу.

XV

Тишина глубокая вокруг Александро-Невской лавры. Ночь темная — зги не видно, только ветер порывистый свищет, да валяются снежные хлопья. Ворота на запоре; население монастырское спит сном глубоким. Но вот раздался странный звук: какое-то бряцание, лязг оружия. Вот слышны слова военной команды: сменяются караульные солдаты.

Караул этот приставлен стеречь регента и его семейство. Решено, что узники здесь переночуют, а утром будут отправлены дальше.

В двух маленьких кельях помещаются Бироны. Герцога привезли в сумерки из караульни Зимнего дворца, и он уже застал здесь жену и детей.

Тяжелое это было свидание! Герцогиня Курляндская, и от природы-то некрасивая, теперь показалась Бирону просто страшною. Непричесанная, ненарумяненная и ненабеленная, одетая во что попало, она почти неподвижно лежала на простой деревянной мона-

стырской кровати и по временам сильно вздрагивала. Только от природы необыкновенно крепкое здоровье ее помогло ей вынести то, что с ней случилось. Она со стонами рассказала мужу о том, как лежала без памяти, совсем раздетая, на снегу и как потом ее растирали и одевали солдаты.

— Теперь я вся как изломанная, — жаловалась она, — рукой, ногой шевельнуть не могу.

Но он почти не слушал. Ему самому было очень плохо: все тело было избито в борьбе с солдатами; на руках и на груди было несколько ссадин и подтеков. На его ногах были надежды простые солдатские валенки, на плечах — та же толстая шинель. Ему было холодно, голова горела, во рту пересохло.

Едва волоча за собою избитые, распухшие ноги, он отошел от жены и прошел в соседнюю маленькую каморку, где, при тусклом свете ночника, увидел детей своих.

Оба сына, Петр и Карл, даже не встали ему навстречу.

Младший — Карл, лежал, уткнувшись в подушку, он, может быть, и не слышал, как вошел отец. Но принц Петр не спит, глядит во

все глаза, а к отцу не подходит. Одна только нелюбимая дочь Гедвига, с покрасневшим и распухшим от слез лицом, поднялась из темного уголка и бросилась к отцу на шею. Но он не ответил ей на эту ласку, он все еще не мог придти в себя, все еще не оправился от постигшего его удара, еще не мог ни думать, ни чувствовать; жил и шевелился машинально.

— Ах, Боже мой, что на вас надето! — шепнула сквозь слезы Гедвига. — Но я о вас подумала: вот ваш халат любимый, я его захватила и привезла с собой.

Она кинулась в свой уголок и вернулась с халатом.

— Спасибо! — равнодушным голосом проговорил Бирон, сбросил с себя солдатскую шинель и надел халат.

— Спасибо! — еще раз повторил он, закутываясь в свой мягкий меховой халат. И вдруг, как будто чувство проснулось в нем, он протянул руки дочери, привлек ее к себе и поцеловал ее горячий лоб.

Она громко зарыдала.

— Господи, что же с нами будет? — сквозь рыдания шептала она. — Что с нами сделают?

— Да, спрашивай его! Спрашивай! — обратился к ней старший брат. — Он должен знать это!

Проговорив эти слова, принц Петр замолчал и отвернулся в сторону.

И так уже бледное лицо Бирона побледнело еще больше. В тоне сыновних слов он услышал и упрек себе, и обиду, и дерзость, и презрение.

— Негодяй! — отчаянным голосом крикнул Бирон и кинулся к сыну.

Вся кровь ударила ему в голову, кулаки судорожно сжимались. Еще несколько секунд, и он жестоко избил бы сына, но силы ему изменили: во всех членах поднялась страшная боль, слабость подкосила ноги, он пошатнулся и упал на пол.

Гедвига кинулась к нему, старалась поднять его, но напрасно. Он снова как будто забылся и несколько минут просидел на холодном полу. Потом медленно, со стоном, приподнялся на ноги и вышел из каморки.

Он присел на кровати жены своей. Она дремала.

Голова Бирона опустилась на грудь, и

вдруг в комнате раздались рыдания. Он рыдал, рыдал, не имея возможности удержаться, и сквозь рыдания слышал, как сын что — то громко и резко говорит с сестрою.

Гедвига старалась усовестить брата.

— Теперь-то что ж упрекать его! — говорила она. — Разве ему легко? Его пожалеть надо!

— Кого жалеть? За что жалеть? — раздражительно твердил Петр. — По чьей же милости, как не по его, мы теперь в этой норе проклятой? Мне холодно! Я голоден! Меня, вон, завтра, может быть, казнить будут, и кто же виноват в этом?

Повторилась вечная история: сын, привыкший как должное принимать все выгоды блестящего отцовского положения, возмущался необходимостью разделять с этим отцом его несчастья.

Гедвига замолчала, опять забилась в свой темный угол и начала думать. Она давно привыкла думать втихомолку.

Несмотря на свои четырнадцать лет, она даже и сегодня оказалась благоразумнее и братьев, и матери.

Когда ее утром разбудили и сказали ей в

чем дело, она, конечно, не могла удержаться от слез и ужаса, но очень скоро совладала с собою и решилась действовать.

В последнее время она очень много наблюдала, хоть и ни с кем не делилась своими мыслями.

Когда ее мать и отец и все домашние торжествовали и были уверены, что впереди только одно счастье, что ничего дурного с ними случиться не может, Гедвига предчувствовала что-то неладное. В толпе своих поклонников, в толпе царедворцев, окружавших отца и лоящих каждый его взгляд, каждое его слово, она подмечала притворство и обман. Незаметно для других она следила за этими лицами и видела, как изменяется их выражение, только что герцог от них отвернется.

С каждым днем ей все яснее становилось, что отца ее никто не любит и что все будут очень рады, если с ним случится несчастье. А если никто не любит, так, значит, и будет это несчастье! Но, конечно, она не могла ожидать, что все ее дурные предчувствия сбудутся так скоро и так ужасно.

Гедвига много училась и много знала. Зна-

ла она, между прочим, и историю, слышала она рассказы о падении Меншиковых, Долгоруких, знала какая судьба постигла эти несчастные семейства.

«Вот, значит, теперь и с нами то же будет, — с ужасом подумала она, — сошлют нас куда-нибудь далеко, и это неизбежно! И надеяться нам не на что! Значит, нужно примириться с этой ужасной мыслью; значит, нужно ко всему приготовиться. Вот и сейчас, того и жди, нас увезут отсюда!»

При этой мысли Гедвига вдруг отерла слезы и бросилась в свои комнаты.

Несколько минут простояла она в раздумьи, соображая, какие вещи ей всего нужнее и что она может взять с собою.

Твердой рукой отперла она ящики, вынула некоторые драгоценности и спрятала их на себя так, что найти их можно было только совсем раздев ее. Потом она связала небольшой узел: все самые необходимые вещи для туалета; положила в тот же узел и несколько любимых своих книг.

С этим узелком прибежала она в комнату, где лежала ее мать; собственными руками, не

допуская никого к матери, она одела ее потеплее, и когда та несколько пришла в себя, стала спрашивать, что она хочет, чтоб было взято с собою.

Но герцогиня не могла ничего говорить, не могла ни о чем думать, и Гедвига опять-таки сама рассудила, что нужнее, и приготовила другой узел. Вспомнила она даже и об отце: не забыла его мехового халата.

И вот она теперь прилегла в темном уголке монастырской кельи. Она устала, голодна, весь день ничего не ела, но она не думает об этом. Кому же, как не ей, плакать теперь, ломать руки, рыдать и приходить в отчаяние? Но она ничего этого не делает. Она думает, она хочет разглядеть то, что перед ними, новую жизнь, к которой должна готовиться.

Из того, что она знает о всяких местах заточения, ей представляется что-то ужасное, представляется вечная зима, безлюдье, тишина пустынная, маленькая избушка, скука невыносимая. Но что ж такое: всюду живут люди и не умирают. Была сегодня одна минута, когда ей умереть захотелось, но нет, умирать не следует! И ей теперь умирать не хо-

чается. Переживают люди целые годы заточения и ссылки, и опять возвращаются в свет, и опять блещут в нем, и опять им улыбается счастье...

А перед нею такая, ведь, долгая жизнь, что и конца она не видит этой жизни, ей только четырнадцать лет!

Она знает, что она умна, что она умеет всем нравиться, так мало ли что еще сделать можно! Мало ли что будет! К чему отчаиваться? Лучше быть спокойной.

И она почти спокойна. Как тихо! Братья загнули, но вдруг в соседней келейке раздается стон. Это мать простонала. Вот отец закашлялся и опять все тихо. Отец! Мать!..

Гедвига невольно вздрогнула, представив себе сцену, как ее гордая мать лежала в одной рубашке на снегу и солдаты ее поднимали; как ее отца, перед которым трепетали сановники и принцы, простые солдаты били. Что они, эти отец и мать, должны были вынести!!

Но Гедвига не долго останавливалась на этих мыслях, она не любила своих родителей. Если она и кинулась на шею отцу, если она и останавливала брата, то из одного только со-

знания, что так необходимо, а не от искреннего чувства. Она хорошо помнила, что ни одной светлой минуты не подарили ей родители. Мать думала только о себе одной, никогда не ласкала ее, отец даже часто бил, называл в глаза уродом, смеялся над ее маленьким горбом, которого никто и не видел, о котором никто даже и не знал, как она думала.

Да, она никогда не любила отца с матерью; гораздо больше их любила она покойную императрицу, Анну Ивановну. Та ее ласкала часто, называла своей милой девочкой, делала ей, чуть не каждый день, прекрасные подарки.

И вот представилась Гедвиге покойная императрица, и тут она не удержалась, горько заплакала.

— Ах, зачем она умерла? Зачем умерла? — почти громко проговорила Гедвига. — Ведь, могла бы еще жить; ведь, она была вовсе не так стара. Вот он теперь мучается, погибает, — подумала она про отца, — и, ведь, да... ведь, вот правда, один он всему причиной, может быть, даже причиной и смерти доброй императрицы! Он знал, что она очень больна,

что ее непременно лечить нужно, а скрывал ото всех ее болезнь, разуверял ее самое, и вот теперь наказан за все это!

Но усталость сделала свое дело: мысли Гедвиги стали обрываться и путаться. Она засыпала, и в дремоте ей мерещился веселый, роскошный бал. Сама она одета в драгоценное платье, покрытое бриллиантами, кругом все улыбаются ей, почтительно склоняются перед нею, важные лица подходят к ней и говорить ей комплименты...

Она опять просыпалась и думала: неужели все это прошло навсегда? Неужели оно никогда не вернется?

Нет! Не может того быть, вернется, должно вернуться!..

Бирон тоже не спал. Напротив, тяжелое, странное оцепенение, в котором он находился весь день, теперь вдруг прошло, он все сообразил и понял. Первое отчаяние, охватившее его, выразилось слезами и рыданием. Но даже и в своем теперешнем положении он не мог долго отдаться серьезному чувству, он вдруг, быть может, в первый раз после многих лет, оказался самим собою: все явившееся

в его характере вследствие необыкновенного положения, в которое он был поставлен, исчезло. Он уже не был высокомерный, гордый герцог Курляндский, он снова превратился в митавского конюха. Он не возмущался даже и не считал себя униженным тем, что с ним так поступали, что на нем синяки и ссадины от солдатской потасовки. Смириться духом и понять, что над ним совершается вполне заслуженная кара, — он тоже, конечно, не мог; он думал только о том: что же теперь ему делать и как вывернуться?

Соображая и обдумывая, он пришел к успокоительному убеждению, что вряд ли его казнить будут, что, наверно, ограничатся только ссылкой. Он хорошо знал характер Анны Леопольдовны, знал, что, в сущности, она добра, что ей делается дурно при одной мысли о крови.

«Конечно, они начнут следствие, — думал Бирон, — и вот тут-то нужно хорошенько действовать мне. О! Я еще не дам вам торжествовать надо мною! Я еще многое выведу на чистую воду! Я еще удружу кой-кому, а, главное, тебе удружу, проклятый Миних! Ты увидишь,

что даже свергнутый и заточенный я еще могу бороться с тобою!»

Он стал обдумывать подробно все свои будущие показания, все обвинения, которые он будет взводить на многих. Он знал, что некоторые из этих обвинений будут очень вески и доказательны, и в мыслях о том, как еще много может он зла сделать, он находил наслаждение.

С этими мыслями он и заснул под утро.

Но долго спать ему не пришлось, скоро явились офицеры и сказали, чтобы узники сейчас же собирались, что их велено везти в Шлиссельбург.

Герцогиня стала стонать; Гедвига помогла ей одеться потеплее, и в то же время заботилась о своих узелках.

Принц Петр, еще вчера наследник Курляндии и предполагаемый жених цесаревны Елизаветы, мрачно, озлобленно и высокомерно глядел на всех и ни одного слова не сказал в утешение матери. Младший его брат, Карл, любимец покойной императрицы, бывший с восьмилетнего возраста кавалером орденов Александра Невского и Андрея, усыпанного

бриллиантами, теперь оказался просто испуганным, плачущим ребенком.

Через несколько минут Бирон был готов. Он так и остался в своем халате, а сверх халата на него надели его роскошный плащ, подбитый горностаем, в котором он обыкновенно разъезжал по городу. Но он даже не заметил, что на него надели, не заметил, что этот плащ был новой над ним насмешкой.

Под конвоем вывели арестантов из монастыря и усадили в карету. На широкие козлы, вместе с кучером, сели два офицера и оба держали в руках заряженные пистолеты. Грузная карета медленно покатила по улицам. Народ собирался ей навстречу, бежал за нею. Сквозь широкие окна кареты так и бросался в глаза яркий, знакомый всему Петербургу, плащ Бирона.

Герцог нахлобучил на глаза меховую шапку, чтобы только его не видели и чтобы самому никого не видеть. Народ кричал:

— Покажись! Покажись! Как твое здоровье, государь Бирон? Скатертью тебе дорога! Покажись, покажись на прощанье! Дай на себя еще разок полюбоваться!

Судорожно тряслись побледневшие губы Бирона, все лицо его кривилось, глаза наливались кровью, он сжимал кулаки и в бессильной ярости шептал: «проклятые!»

Многие из толпы, выходявшей навстречу Бирону, помнили еще другой день и другую карету, в которой, так же закутавшись и нахлобучив шапку, сидел другой изгнанник — всемогущий князь Меншиков.

Тогда тоже и Александру Даниловичу кричали: «покажись-ка!» Но все же далеко не все, вышедшие глядеть на печальный меншиковский поезд, посылали вслед павшему вельможе проклятия. Тогда были люди, решавшиеся и пожалеть его. Эти люди сознавали, что он виноват, что он по делам наказан, но все же они знали и о его заслугах; все же они знали, что это наказан большой русский человек, много делавший для земли своей и только попутанный бесом.

Теперь же, глядя на яркий плащ Бирона, никто не находил в себе жалости к регенту. Все знали, что никаких заслуг никогда и не было за этим иноземцем, что он появился как червь негодный, который портит хлеба рос-

кошныи, что он умел только пожирать все, попадавшееся ему под руку! И вот все, как один человек, провожали его насмешками и радовались его унижению.

Проехала карета, народ стал расходиться, толкуя о совершившемся событии.

— Ну, скрутили злодея, теперь, авось, и вздохнем свободнее! — слышались голоса.

— Ах! Да вздохнем ли? — отвечали другие. — Один, что ли, враг был у нас — Бирон? Им одним разве все зло держалось? Много еще разных Биронов осталось. Что-то будет? Это они теперь только друг с дружкой грызутся! Эх, кабы наша царевна Елизавета Петровна... она бы всех этих червей негодных из русской земли с корнем вывела!

Часть вторая

I

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Анна Леопольдовна была признана правительницей. За все это время в России и в Петербурге не случилось никаких волнений. Все казалось тихо, спокойно, а, между тем, это спокойствие было только кажущимся: всюду велись большие интриги.

Оскорбленный Минихом принц Антон скоро достиг своих целей. Он знал, что выбирает себе надежного помощника в Остермане.

Андрей Иванович, действительно, в этом деле работал за двоих. Ему необходимо было доказать и самому себе, и Миниху, что промах еще не есть признак слабости.

Не прошло и месяца со дня свержения Бирона, как Миних должен был почувствовать силу Остермана; а надежных друзей и сторонников у него не оказывалось. Он совершил переворот ради себя и принцессы, забыл об интересах всех остальных, и, следовательно, мог держаться только одной принцессы. Но и относительно Анны Леопольдовны положе-

ние его было не особенно крепко. Принцесса не чувствовала к нему никогда большой привязанности; ее с ним связывала теперь только благодарность; а, ведь, известно, что благодарность, для большинства людей, чувство очень тяжелое и от него всячески стараются избавиться. Миних забылся; с первой минуты своего торжества поставил сам себя на первое место, считал себя в праве всем распоряжаться, не стесняясь заявлял, что только его советами, выражаемыми в безапелляционной форме, должна руководствоваться правительство.

Она сознавала, что он может этого требовать, что она, действительно, ему всем обязана, но в то же время эти требования ее раздражали. К тому же миниховские советы иногда не согласовались с ее собственными желаниями, а она, как бы то ни было, считала себя теперь действительной правительницей России.

«Что ж это такое — думала она по своему обыкновению вслух перед другом своим Юлианой: — что ж это такое, неужели для того я избавилась от Бирона, чтобы попасть под но-

вую опеку?»

Конечно, Юлиана, приобретавшая с каждым днем все более и более влияния на принцессу и всегда умевшая направлять ее мысли, могла бы и тут сослужить верную службу своему родственнику Миниху, но и она этого не хотела, и она тоже возмущалась его опекой, и молча выслушивала жалобы своего друга, ни одним словом не заступалась за фельдмаршала. Все остальные приближенные только и делали, что раздражали Анну Леопольдовну: они ежеминутно толковали ей о том, что честолюбие Миниха всем известно, что, наверное, он питает в себе самые опасные замыслы, что это человек уже и по своему характеру никогда не могущий быть ничем довольным и постоянно желающий большего: «вчера он свергнул Бирона, завтра, если что-нибудь ему не понравится, он точно так же может свергнуть легко и ее, принцессу. Да, Миних даже опаснее Бирона, потому что отважнее его, умнее, даровитее. Для того, чтобы он был доволен, надо подчиняться ему во всем. Рядом с собой он не потерпит никого, он никому не позволит себе заграждать дорогу»...

«Рядом с собой он не потерпит никого», — эта фраза, не раз повторяемая, осталась в голове Анны Леопольдовны, и в этой фразе была вся дальнейшая судьба Миниха.

Дело в том, что Линар был уже на дороге к Петербургу. Вот он приехал и правительница встретила его с таким нескрываемым восторгом, что об этом тотчас же стали говорить. В нем увидели сразу новое восходящее светило, быть может, нового Бирона. И конечно, прежде всех заметил это Миних. Он понял, что ему предстоит бороться с Линаром, что ему необходимо победить этого Линара, потому что иначе он заступит ему дорогу. Но он не понял и не сообразил того, что единственная возможность удержать за собою первенствующее значение и какое-нибудь влияние на принцессу, это именно всеми силами стараться не показывать нерасположение к новоприезжему, что необходимо взвешивать теперь каждый свой шаг и каждое слово. Миних неосторожно проговорился, вскользь заметил, что такая торжественная встреча и ласки оказываемые одному посланнику, могут весьма основательно обидеть других.

Эти слова были переданы Анне Леопольдовне и подняли в ее сердце целую бурю. Судьба Миниха была решена. Бороться с сердцем любящей женщины старому фельдмаршалу оказалось не по силам. Он был теперь со всех сторон окружен врагами, он чувствовал себя как лев, попавшийся в крепкие тенета, и только метался из стороны в сторону, с каждой минутой все больше и больше сознавая свое бессилие. Он видел, как принц Антон и правительница, совершенно чуждые друг другу, даже порвавшие супружеские отношения, дружелюбно сходились между собою в одном: в недоброжелательстве к нему, Миниху. Чем же все это кончится?

Окончания пришлось ждать не долго: враги Миниха работали быстро. Принц Антон каждый вечер сидел у Остермана, и каждый раз, возвращаясь от него, жаловался правительнице на то, что фельдмаршал с ним очень дурно и недостойно обращается.

В конце января Анна Леопольдовна, отворяя свой туалет, нашла в нем письмо, написанное как будто заграницей. В письме этом говорилось, что чрезвычайно опасно ей пола-

гаться на одну только фамилию и, притом, иностранную, что в таком случае состояние подданных ее сына не может улучшиться, хотя и нет более Бирона.

Остерман, Головкин и Левенвольде пользовались каждым случаем, чтобы доводить до сведения правительницы о действительных и мнимых промахах фельдмаршала. Наконец, к довершению всего, сосланный Бирон прислал свои показания, в которых всячески изоощрялся вредить Миниху.

Анна Леопольдовна была раздражена в высшей степени, и в этом раздражении нанесла первый удар своему благодетелю: Миних получил указ о том, что должен сноситься с генералиссимусом обо всех делах и писать к нему по установленной форме.

Этот указ застал фельдмаршала больным и, конечно, не мог способствовать его выздоровлению. Болезнь его усилилась, он лежал в постели, а в то же время вечно больной и по целым месяцам невыходивший из комнаты граф Андрей Иванович все чаще и чаще показывался на своих носилках в покоях правительницы.

Жалуясь на свои болезни и охая, прикрывая свои зоркие глаза и все обрюзгшее бледное лицо зеленым зонтиком, старый оракул убедительно доказывал принцессе, что Миних не сведущ в делах иностранных. А кто же мог вернее судить об этом, как не он, Остерман, в продолжение двадцати лет управлявший этими делами? Все яснее и яснее, из слов Андрея Ивановича, становилась для Анны Леопольдовны опасность: несведущий, высоко занесшийся фельдмаршал может приготовить гибель России.

— Что ж теперь делать? — растерянно спрашивала Анна Леопольдовна.

— Да уж и не знаю, ваше высочество, — отвечал Остерман, даже под зонтиком, закрывая свои глаза, чтобы ничего не было видно в его мыслях. — Уж и не знаю, что теперь делать! Конечно, я был бы рад сообщать фельдмаршалу все необходимые сведения, но вы сами изволите видеть, что я совсем больной человек и не могу к нему ездить; пришлось бы постоянно толковать не об одних иностранных делах, а и о внутренних. Хотя фельдмаршал и богато одарен от природы, но

всякие познания даются только долгими трудами, многолетней опытностью и практикой, а он, как известно вашему высочеству, опытность и практику приобрел только в делах военных.

И Андрей Иванович начинал снова вздыхать и охать.

Следствием этих разговоров был второй удар Миниху: кабинет-министры получили именной указ, где говорилось, что первому министру, генерал-фельдмаршалу графу фон-Миниху надлежит ведать все, что касается до сухопутной полевой армии и всех войск и рапортовать об этом герцогу Брауншвейгскому. Генерал-адмиралу графу Остерману ведать все, что подлежит до иностранных дел и дворов, а также адмиралтейство и флот. Великому канцлеру князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину ведать все, касающееся до внутренних дел, по сенату и синоду, о государственных по камер-коллегии сборах и других доходах, о коммерции и юстиции.

Указ заканчивался такими словами: «если же по какому-нибудь департаменту случится такое важное дело, которое требует неотмен-

ного общего обсуждения, о таком тотчас учинять общий совет».

Миних едва мог придти в себя по прочтении этого указа: все, что он приобрел для себя, все, что он получил как награду за совершенный им переворот, от него отнималось: он снова превращался в то, чем был при императрице Анне. Что ж теперь ему делать? Протестовать, бороться? Но, видя, против него все, друзей нет, партии составить не из кого; над ним все смеются, торжествуют. Даже принц Антон, которого он считал за ничто и отстранил мановением руки, как надоедливую муху, этот принц Антон вдруг совершенно изменился, глядит и говорит так гордо — очевидно, чувствует под собою твердую почву, сознает свою силу.

Вот фельдмаршалу верные люди передают такие слова принца Антона: «хоть я много одолжен Миниху в походах, хотя он может быть мне полезен на своем надлежащем месте и недавно оказал услугу, но все же из того не следует, чтоб ему быть здесь верховным визирем. Если он будет настолько благоразумен, что без рассуждения согласится на требо-

вание, выраженное в последнем указе, то я не стану вредить ему, но если он начнет слушаться неумеренного своего честолюбия и природной жестокости своего нрава, то легко может своей глупостью навлечь на себя гибель».

И все это говорил принц Антон, тот самый принц Антон, который дрожал и плакал еще так недавно в чрезвычайном заседании, собранном Бироном.

Скрежеща зубами, в бессильной ярости, Миних согласился на все, что от него требовали. Но соглашаясь, он все же надеялся, что теперь его оставят в покое, что новых уступок от него уж и невозможно требовать, что он будет в состоянии хорошенько обдумать свое положение и найдет еще возможность потягаться со своими врагами и посрамить их.

Однако, и тут он ошибался. Принц Антон продолжал свои почти ежедневные тайные посещения Остермана и Головкина. Остерман и Головкин продолжали настраивать Анну Леопольдовну и совершенно успевали в этом. При докладах Миниха правительница стала очень странно держать себя;

она делала вид, что затруднена множеством предметов, что у нее мало времени, что она не в силах сама все обдумывать и решать — и призывала к себе на помощь принца Антона.

Миних раздражался все больше и больше, едва себя сдерживал и, наконец, решился на последнее средство. Необходимо было, так или иначе, выйти из этого невыносимого положения. Он потребовал отставки, в твердой уверенности, что отставка эта не будет принята, что Анна Леопольдовна перепугается, его станут уговаривать, упрашивать и, наконец, примут все его условия.

Действительно, в первую минуту правительница была поражена, она все еще помнила, чем обязана фельдмаршалу, ей все еще было как-то совестно окончательно оттолкнуть и унижить этого человека.

Миних сидел дома и сказывался нездоровым.

Анна Леопольдовна послала ему передать, что не может обойтись без его советов, не может согласиться на его отставку. Но этого заявления ему было мало; он объявил, что если не могут обойтись без него, то он согласен

продолжать свою службу, но только на одном непременном условии, чтобы все дела велись так, как в первые два месяца по свержении Бирона.

«Что-то ответят? Согласятся ли?»

Миних ждет целый день — никакого ответа.

Наступил и второй день — никто к нему не является. Он расспрашивает сына — сын отвечает, что ему ничего неизвестно. А, между тем, принц Антон сидит у Остермана, к которому приехал вместе с графом Головкиным. Их совещание продолжается несколько часов, затем они едут во дворец, призывают Левенвольде и Миниха-сына и поручают им передать фельдмаршалу, что правительница с сокрушенным сердцем соглашается исполнить желание графа, соглашается на его отставку.

На следующий день, с необыкновенной поспешностью и предупредительностью уже готов указ генералиссимуса, в котором говорится: «Всемиловитейше указали мы нашего первого министра, генерал-фельдмаршала графа фон-Миниха, что он сам нас просит за старостью, и что в болезнях находится и за

долговременные нам и предкам нашим, и государству нашему верные и знатные службы его, от военных и статских дел уволить».

Миних был поражен до такой степени, что потерял уж всякую энергию и не мог опомниться от этого удара; но ему предстояло вынести еще одно последнее оскорбление.

Принц Антон торжествовал. Запуганный, загнанный, со всех сторон оскорбляемый, он, наконец, достиг своей цели и у него явилось, вполне согласное с его характером и чувствами, желание поломаться перед сверженным противником, поглумиться над ним. Он велел собрать солдат, и вдруг на петербургских улицах раздался барабанный бой, сбежался народ, и народу торжественно читался указ об отставке Миниха.

Даже Анна Леопольдовна, вся поглощенная в это время свиданиями с Линаром и своими собственными делами, возмутилась таким поступком принца.

Она тотчас же послала сказать фельдмаршалу, что готова дать ему какое угодно удовлетворение за эту обиду.

Миних, раздавленный, задышавшийся от

отчаяния, бешенства и оскорбления, все же нашел в себе силы отвечать с полным достоинством. Он послал сказать правительнице, что считает себя вполне удовлетворенным, получив такие знаки ее милости. Вслед за этим к нему отправлены были три сенатора с извинениями.

А, между тем, продолжали приходить одно за другим показания Бирона, и в них он с наслаждением выставлял и доказывал все вины фельдмаршала.

Но на слова Бирона уже обращали мало внимания — все равно Миних теперь был безвреден.

Анна Леопольдовна успокоилась; ее совесть молчала — не она выказала неблагодарность столько для нее сделавшему человеку, она только подчинилась необходимости; не она его погубила — он сам погубил себя. Она оправдывала себя тем, что Миних был неисправим в своем доброжелательстве к Пруссии. Он не обращал ни малейшего внимания на добрые внушения, не исполнял приказаний принца, не исполнял даже ее приказаний, а выдавал свои приказы, противоречив-

шие ее воле. Иметь дело с таким человеком, значило рисковать всем.

Отвязавшись от него, она вздохнула свободнее; теперь ей уже не предстояло целые дни выслушивать различные жалобы и советы. Теперь все были довольны: Остерман мог снова делать, что ему угодно. Принц Антон дружен с Остерманом, пусть они там и ведут дела — до нее это не касается. Теперь она, может, наконец, всецело отдаться своей собственной жизни. Она исполнила всеобщее желание и пусть оставят ее в покое; если же кто-нибудь вздумает вмешиваться в личные дела ее, так она покажет еще свою силу.



Весна в полном разгаре; ладожский лед прошел. Солнце сияет все жарче и жарче и на огромных черных деревьях дворцовых садов распускаются почки. Нева широкая стоит — не шелохнется. В безветренном воздухе только изредка тонкий белый гребешок волны, поднятой большою рыбой, приподнимается из глади, разбежится и плеснет на набережную.

Анна Леопольдовна любит теперь выхо-

дить в сад и по целым часам гулять там, опираясь на руку Юлианы.

Кто несколько месяцев не видел принцессу, с трудом ее теперь узнает. Лицо ее оживленно, глаза блестят весело, на щеках играет здоровая молодая краска. Она чувствует себя счастливой и довольной; только одно обстоятельство смущает эти безоблачные дни: иногда ей невозможно повеселиться так, как бы хотелось — доктора удерживают — правительница через несколько месяцев снова должна сделаться матерью.

Но даже и об этом неприятном ей обстоятельстве она часто забывает — широкой волною нахлынуло на нее счастье.

Она жадно, почти с детским восторгом встречает весну; она глядит на распускающуюся зелень, на яркое солнце, на синеву небесную, слушает веселое щебетанье птиц, и все это торжество просыпающейся природы сливается с торжеством ее сердца, и во всем видится ей милый образ.

Иногда Остерман, или другие скучные люди, толкуют ей о делах, пугают тем, что политический горизонт начинает покрываться ту-

чами, что собирается гроза со стороны Швеции: того и жди война — но ей нет никакого дела до этого. Какой вздор! Какие там тучи! Небо безоблачно... Он, он, человек, которого она любит вот уже сколько лет, которого так безжалостно когда-то у нее отняли, снова с нею! О чем же думать теперь? Перед чем смущаться? Война — какой вздор!.. Но если и война, так это не ее дело: пусть они там справляются, как знают. Пусть только оставят ее в покое.

Раннее утро. Анна Леопольдовна проснулась, медленно открыла глаза и взглянула прямо перед собою.

В окно ее спальни так и врывается ослепительным светом это горячее майское утро.

«Душно здесь, душно! Скорей воздуху, света!»

Она кличет своих служанок; она приказывает растворить двери балкона, поставить на балкон экран, а потом вынести и ее вместе с кроватью. Она еще не хочет одеваться. Ей так приятно будет понежиться часок, другой на воздухе. Балкон выходит прямо на Мойку.

— Юлиана! Юлиана! — радостно говорит

она входящему другу. — Слышишь, что я придумала: я хочу спать на балконе!

Юлиана пожимает плечами.

— Положим, — замечает она, — у тебя могут быть всякие капризы и доктора говорят, что в твоём положении даже следует исполнять эти капризы, но, ведь, есть же всему предел! Как же это спать на балконе? Выносить кровать? Ведь, увидят...

— Вот пустяки! — перебивает ее принцесса. — Никто не увидит — теперь рано... Да и, наконец, не смеют смотреть! Не смеют видеть! Неужели я не могу делать что хочу? Выносите же меня скорей! — обращается она к служанкам.

Кровать вынесена, заставлена ширмами. Но если кто хочет наблюдать с реки, тот, конечно, видит принцессу.

Удалились служанки, удалилась и Юлиана, объявив, что не желает вовсе быть соучастницей этой выдумки. Принцесса одна; теплый ветерок доносит к ней то свежий, влажный запах речной воды, то душистый смолистый запах липовых и тополевых почек. Над нею высоко плывут прозрачные ро-

зоватые облака и там, в сверкающей высоте, крошечными точками мелькают птицы.

Утренний воздух снова навевает на нее дремоту, и она забывается, незаметно переходя от окружающего ее ясного утра в мир фантазий, и сладко ей бессознательно следить за прозрачными, внезапно являющимися и заменяющими друг друга грезами, и незаметно идет время. Мало-помалу расплываются, будто в той же синеве небесной, ее грезы. Она совсем засыпает. Почти детская, блаженная улыбка на ее губах, грудь мирно, спокойно дышит, а ветерок ласково скользит по лицу ее, шевелит выбившийся из-под батистового чепчика локон...

Но вот она снова проснулась.

— Юлиана!

А Юлиана уже здесь, торопит ее скорее вставать, не то, право, это ни на что не похоже: в городе начинается движение, по реке давно плавают лодки, да и набережную нельзя же, ведь, закрыть от народа.

Анна Леопольдовна, улыбаясь, потягивается и, наконец, соглашается, чтобы ее внесли снова в комнату.

— Который час, Юлиана? — потягиваясь, спрашивает Анна Леопольдовна.

— Да уже скоро десять, разве не видишь как высоко солнце?

— Десять! Так в самом деле пора вставать. Скорей мне одеваться!

Принцесса торопливо приподнялась с кровати и начала свой туалет.

Через полчаса она была готова, накинула широкую белую, подбитую розовой тафтой блузу, а голову повязала неизменным белым платочком. Но теперь даже и в этом платочке замечалась перемена: он был повязан довольно кокетливо.

Анна Леопольдовна тут же, у себя в спальне, на скорую руку позавтракала и поспешила с Юлианой в сад.

В огромном саду было совершенно пусто. Работники, расчищавшие дорожки, издали завидев принцессу с ее спутницей, поспешно скрылись.

Анна Леопольдовна, глубоко вдыхая в себя душистый воздух, спешила в самую глубь сада, так спешила, что Юлиане несколько раз приходилось ее останавливать и напоминать

ей, что скорая ходьба вредна для ее здоровья.

— Может быть, он был здесь и ушел!? — вдруг шепнула Анна Леопольдовна Юлиане.

— Нет, еще рано.

И они шли дальше. Вот подошли они почти к самому забору, остановились у новой, всего с неделю только назад сделанной, калитки.

Анна Леопольдовна прислушалась: все тихо, только наверху со всех сторон раздается веселое чириканье птиц да за калиткой слышны чьи-то мерные шаги.

— Нет, это часовой! — вслух подумала принцесса.

Прошло несколько мгновений, закрипела калитка, и в ней показалась стройная фигура изящно и богато одетого человека.

Яркий румянец вспыхнул на щеках Анны Леопольдовны; у нее даже дух захватило от радости и она остановилась, не шевелясь. Только глаза сияли и правая рука ее, нервно вздрагивая, протягивалась, еще издали, к входящему человеку.

— С добрым утром, принцесса! — по-немецки проговорил он звучным и нежным

голосом, целуя протянутую ему руку. — Здравствуйте, фрейлен! — обратился он затем к Юлиане.

Юлиана поклонилась ему, улыбаясь, а Анна Леопольдовна все продолжала смотреть на него и не проронила еще ни звука.

Это был человек лет уже сорока, но очень моложавый, с прекрасными, правильными чертами лица, с темными ласковыми глазами и изысканными манерами, одним словом — это был Линар.

Анна Леопольдовна, несмотря на то, что невольная необходимость постоянно сталкиваться с людьми и играть в обществе большую роль должна же была, наконец, отучить ее от ребяческой конфузливости, при встречах с Линаром до сих пор еще терялась как влюбленная шестнадцатилетняя девочка. Впрочем, может быть, это происходило, главным образом, и от того, что она чувствовала себя безмерно счастливой и это счастье пришло для нее так неожиданно, что она иногда даже не могла ему верить, и казалось ей, что это только сон, что наяву, в действительности, не может быть такого счастья.

Пока она молча глядела на Линара и любовалась им, Юлиана уже весело болтала. Она успела и похвалить чудесное утро, и сказать Линару, что проснулась очень рано, выпила стакан минеральной воды, предписанной ей докторами, и совершала свою утреннюю прогулку.

— А принцесса заленилась сегодня: только что изволила одеться... Однако, что же это я, чуть было не забыла; ведь, мне еще два стакана воды выпить нужно: пойду выпью и сейчас же вернусь к вам.

Она быстро направилась по дорожке к маленькой беседке, где ставился ей каждое утро кувшин с привозной минеральной водой.

Линар и Анна Леопольдовна остались одни.

Он предложил ей руку, она крепко оперлась на нее, и они тихо стали бродить по аллее.

Смущение принцессы прошло. Она живо заговорила: ей так много нужно было сказать Линару.

Они толковали о последних дворцовых событиях, но скоро перешли к близкой для них

теме.

— Что же, вы обдумали то, о чем мы вчера говорили? — спросила принцесса своего спутника. — Решаетесь вы навсегда остаться с нами и быть совсем нашим?

— Разумеется! — поспешно отвечал он. — Как можете вы меня спрашивать об этом! Конечно, теперь я не могу, я не в силах вас оставить, но в конце лета, когда я совершенно успокоюсь на счет вашего здоровья, я отправлюсь в Дрезден и выхлопочу себе у моего двора отставку. Мне, конечно, хотелось бы совсем избежать этой поездки, но она необходима.

— Отчего необходима? — перебила Анна Леопольдовна. — Разве нельзя написать? Я сама напишу, я надеюсь, мне не откажут.

— Да, конечно. Но все же такое дело невозможно будет решить без моего присутствия. К тому же мне необходимо там на родине покончить все свои дела. Впрочем, я долго не буду в отлучке...

Анна Леопольдовна задумалась.

— Скажите, граф, — вдруг спросила она, пристально взглянув на него, — нравится ли

вам Юлиана?

— Что за вопрос? Конечно, нравится. Она не может мне не нравиться уже хоть бы потому, что она преданный друг ваш.

— Нет, но как вы находите ее? Неправда ли, она красивая, милая и умная девушка?

— Конечно! Только я не понимаю, к чему вы меня об этом спрашиваете...

— Постойте, я сейчас объясню вам. Вы согласны навсегда расстаться с родиной, согласны сделаться нашим, следовательно, надо позаботиться о том, чтобы вы здесь хорошо, твердо устроились. Жена ваша давно умерла, вам необходимо вторично жениться, и я нахожу, что лучшей невесты для вас и придумать нельзя, как Юлиана...

Линар невольно остановился и изумленно взглянул на принцессу. Но она не смутилась от этого взгляда: то, что она говорила, было давно уже ею обдуманно, взвешено и представлялось ей необходимостью.

— Вы изумляетесь, — проговорила она, — вам не нравится моя мысль? Она и мне самой, может быть, очень не нравится, но иначе нам поступить нельзя. Разберите хоро-

шенько и сами увидите что вы непременно должны быть женаты именно на Юлиане, на моем лучшем, дорогом друге. Вы будете моим обер-камергером, тогда никто не посмеет вмешиваться в наши дела и расстраивать нашу дружбу.

Она замолчала. Линар тоже не говорил ни слова, и несколько минут они шли молча.

Он обдумывал слова ее и видел, что она права, предложенная ею комбинация, действительно, одна только и может обеспечить для них в будущем спокойствие. В том кругу общества, где он провел всю свою жизнь, установились свои собственные взгляды на многие вещи, то перед чем остановился бы в смущении простой, дышащий более здоровым воздухом человек, что показалось бы этому человеку невозможным, унижительным, позорным, казалось совершенно естественным придворному и дипломату. Но все же Линар иногда, неожиданно для самого себя, оказывался более человеком, чем это допускалось при его общественном положении. И теперь комбинация принцессы его смутила, ему вдруг сделалось ка-то неловко.

Его смущение сообщилось и Анне Леопольдовне. Она вспыхнула, опустила глаза.

Она хорошо все обдумала, но по легкомыслию своему не отдавала себе хорошенько отчета в том, какие нравственные трудности ей обходить придется.

Но все же ни он, ни она не могли отказаться от этой ловкой комбинации, все же они продолжали понимать, что она единственная и им не миновать ее.

— А фрейлина Юлиана, она знает? — спросил, наконец, Линар.

— Да! — робко прошептала принцесса.

В это время Юлиана показалась в конце аллеи.

При взгляде на нее опустились глаза Анны Леопольдовны и Линара.

Но она спешила к ним, сияя весельем. Она что-то издали им кричала, чего они не слышали в своем волнении.

Она подошла к ним, и от ее пронизательного взгляда ничто не ускользнуло. Она поняла сразу, что между ее другом и Линаром произошло нечто важное, она знала, что именно, и смущалась. Ей самой первой пришла мысль

о комбинации, и она ничего дурного и страшного не находила в ней. Она с чистым сердцем жертвовала собою ради спокойствия своего друга. Но все же и ей было бы неловко, если б пришлось теперь говорить открыто. Все так будет... все так должно быть... но только нет... нет, не теперь... Неужели они заговорят?

Нервная дрожь пробежала по ее членам. Однако, ее опасения были напрасны. Линар и принцесса ничего ей не сказали, и разговор свелся на предполагавшийся завтра праздник, на прекрасную погоду, на то, что скоро в городе будет душно и куда бы переехать.

Проходя мимо новой калитки, в которую вошел Линар, они слышали какой-то громкий голос.

— Что же ты, с ума сошел, что ли? Как ты смеешь меня не пропускать! — раздражительно кричал кто-то. — Что ты, пьян, что-ли? Не узнаешь меня?

— Никак нет-с, ваше высочество! Как же я смею не признать вас? — раздался другой тихий и почтительный голос. — Только, по приказанию ее высочества, никого, как есть ни-

кого, не могут пропускать в эту калитку. Принцесса сама изволила устно отдать мне это приказание; хоть убейте меня, не смею.

Послышалось немецкое проклятие и голоса стихли.

— Это принц, — прошептал Линар.

— Итак что же?! — ответила Анна Леопольдовна. — Часовой исполняет мое приказание и может быть спокоен, ему ни от кого не достанется. Кажется, я могу быть хозяйкой у себя и запереть этот сад для всех.

— Но, ведь, принц может обойти и через дворец пройти сюда.

— Нет, не может — и у дворца есть часовые. Когда я гуляю, сад заперт для всех. Я разрешила гулять в нем только птицам, да и то потому, что у меня нет власти над ними. А из людей в мой сад допускается одна Юлиана и ее жених, граф Линар.

Линар и Юлиана никак не ожидали подобного заключения и оба вздрогнули. Но Анна Леопольдовна, на которую как-то электрически подействовал голос мужа, спорившего с часовым, забыла свое смущение, на нее нашло нервное состояние. Она протянула руки

к своим спутникам и торжественно сказала:

— Да, так нужно! Так должно быть! Так и будет: вы жених и невеста!

Линар и Юлиана ничего не ответили ей, не взглянули друг на друга.

Несколько минут продолжалось странное, тяжелое молчание.

III

Принц Антон, убедясь, что часовой ни за что не пропустит его в новую калитку сада, и что из дальнейших препирательств с ним выйдет только одна неприятная и унижительная история, отправился во дворец и прошел прямо на половину Анны Леопольдовны.

— Где принцесса? — спросил он первую попавшуюся фрейлину. — Мне надо ее немедленно видеть.

— Ее высочество гуляет в саду, — отвечала фрейлина.

Принц Антон направился к дверям, ведущим в сад, но и тут два часовых заградили ему дорогу.

Он до такой степени раздражился, что накинулся на этих часовых с кулаками. Но они стояли перед ним, скрестив ружья, как исту-

каны, не повертывая головы и не мигая смотрели в одну точку, если ему было угодно, он мог кричать, бить их — они не шевельнутся. Он отступил в бессильной ярости.

В эту минуту из сада к двери подошла Анна Леопольдовна в сопровождении Юлианы. Часовые немедленно отдали ей честь и пропустили.

— Что же это, наконец, такое? — начал было принц Антон.

Жена мельком взглянула на него, как в пустое пространство, и прошла мимо. Он бросился за нею.

— Что же это такое? — снова повторил он еще громче и раздражительнее.

— Потихе — спокойно перебила его принцесса.

— Да, ведь, это, наконец, ни на что не похоже! — даже начинал задыхаться он от бешенства. — Это унижительно! Вы Бог знает какие порядки заводите. Я хочу гулять в саду — меня не пропускают, меня... Вы вон там, Бог знает для кого и для чего калитку проделали и доводите меня до неслыханных унижений! Передо мной часовые заграждают дорогу. Что

все это, наконец, значит? Почему я не могу гулять в саду?

— Потому, что я не желаю, чтобы там гулял кто-либо, кроме меня и Юлианы, — тем же спокойным голосом прошептала принцесса.

Это раздражающее, невыносимое ее спокойствие и презрительность доводили его до исступления.

— Да вы, наконец, совершенно забываетесь! — закричал он. — Я не могу допустить этого!

— Это вы забываетесь! — отвечала Анна Леопольдовна. — И я прошу вас меня оставить.

Он сжал кулаки, его зубы стучали один о другой.

— Вас оставить?.. Я давно это сделал. Мы, кажется, в последнее время почти и не видимся, ваши двери для меня вечно закрыты. Да, ведь, есть же предел всему, и я советую вам образумиться и не доводить меня...

Но она не желала его дальше слушать.

— Оставьте меня в покое, — проговорила она, — мне некогда выслушивать ваши дерзо-

сти, я утомлена... я больна... оставьте меня!

Она прошла дальше. Но он удержал Юлиану.

— Юлиана, послушайте, остановитесь, — заговорил он, — мне нужно сказать вам два слова...

Юлиана повиновалась. Анна Леопольдовна на мгновение оглянулась, но не позвала ее и скрылась за дверью.

Принц Антон огляделся; они были в пустой комнате.

Он бросился в кресло и знаком просил Юлиану сесть возле него.

— Что вам угодно, принц? — тихим и каким-то скучающим голосом спросила она.

— Да войдите же хоть вы в мое положение, — торопливо начал он. — Она живет вашим умом, вы имеете над ней такое влияние, образуйте ее, ради Бога, растолкуйте ей, до какой степени возмутительно ее поведение относительно меня.

— Извините, принц, — отвечала Юлиана, — избавьте меня от таких щекотливых поручений. Я не могу, я не должна вмешиваться в дела ваши и вашей супруги, и вы совершен-

но заблуждаетесь, предполагая, что мое влияние так уже велико. Есть вещи, о которых я просто не смею говорить принцессе, она меня не станет слушать и прикажет мне замолчать.

Принц Антон взглянул на Юлиану. Она сидела перед ним нарядная, красивая.

В последнее время, весь поглощенный своими делами, большою интригою, хлопотами, переговорами по поводу Миниха, наконец, торжеством своим над фельдмаршалом, он редко встречался с Юлианой. Он забыл о ней думать, забыл о том, какое впечатление производила на него красота ее. Но теперь перед ним было это живое, задорное лицо и он даже забыл обо всем своем негодовании и любовался ею.

— Я когда-то верил вашей дружбе, Юлиана, — грустно проговорил он, — и жестоко обманулся.

— Я не знаю, принц, чем я подала вам повод быть недовольным мною, я, кажется, всегда выражала вам чувства глубокого моего почтения и преданности...

— Оставьте эти фразы, — перебил принц

Антон, — я говорю не о чувствах глубокого почтения и преданности, а о дружбе вашей, на которую, действительно, рассчитывал. Мне казалось, что вы мне сочувствуете, что вам жалко меня!

— Когда вы находились в тяжелом положении, принц, когда регент оскорблял вас, я вас жалела от всей души. Но теперь обстоятельства переменились... и я, признаться, не думала, что теперь вы нуждаетесь в жалости.

— Обстоятельства переменились... — с печальной улыбкой сказал принц Антон. — Переменились да не улучшились... О! какое же вы коварное существо, Юлиана; как вы зло издеваетесь надо мною!

— Я, принц? Я издеваюсь?.. Извините меня, но я, право, не подала повода вам к подобному предположению.

— Ну, вас не переговоришь! — он махнул даже рукою — всегда найдете, что ответить. Нет, серьезно скажите мне: есть ли у вас сердце?

Она пожала плечами.

— Пожалейте меня, Юлиана, и помогите мне!

Он взял ее руку и прижал ее к губам своим.
Она не отняла ее.

— Послушайте! — заговорил принц, оглядываясь. — Послушайте, дорогая Юлиана, я давно собираюсь по душе побеседовать с вами... не здесь... теперь здесь неудобно!.. Скажите мне, когда вы будете свободны сегодня вечером? Мы можем встретиться где-нибудь, не опасаясь свидетелей. Пожалуйста! Прошу вас!

Юлиана поднялась со своего кресла.

— Что ж это, принц, — сказала она, сверкнув глазами, — кажется, вы назначаете мне свидание? Но вы ошибаетесь, если, думаете, что я соглашусь на это. Я постоянно с принцессой, у меня мало свободного времени, а если оно и окажется, то я обязана посвятить его жениху моему.

— Что! Жених? — вскрикнул изумленно принц. У вас есть жених! Кто это такой!

Она секунду подумала и спокойно отвечала:

— Мне сделал предложение граф Линар, и я согласилась.

Сразу все стало ясно для принца Антона.

Он думал, что стоит ему только хорошенько поухаживать за Юлианой, и она окажется к нему очень благосклонной. Он рассчитывал, что непременно, в отместку жене, приблизит к себе Юлиану и сделает ее своей союзницей, что с ее помощью можно будет сделать еще много неприятностей Анне Леопольдовне и Линару, и вдруг!.. Вдруг она сама, прямо, ничего не боясь и не стесняясь, объявляет ему, что Линар ее жених. Вот, что они выдумали!.. Он должен был сознаться, что придумано хитро.

— А! Так вот как! — прошептал он. — Я давно должен был видеть, что вы враг мой. А! У вас заговор против меня! Но погодите, вы слишком уж плохого мнения обо мне! Я еще так-то наступать на себя не позволю. Не торжествуйте заранее, есть всему мера! И я покажу ей, вашему другу, что до такой степени забаваться невозможно! Ее титул правительницы не спасет ее.

— Если вы так говорите, принц, то я имею полное право не слушать слов ваших и позволяю себе вас оставить, — проговорила Юлиана и быстро вышла из комнаты.

Принц Антон опустился в кресло и долго сидел, не шевелясь, только его губы вздрагивали, да по временам на лице вспыхивала краска.

«Так вот они как! — думал он. — Но еще посмотрим! Сейчас же надо ехать к Остерману и, делать нечего, посвятить его во все... Да и во что посвящать? Боже! Все отлично все видят, понимают. Когда же, наконец, кончится эта пытка? Неужели всю жизнь мне придется только выносить оскорбления ото всех и отовсюду? Вот, думал отдохнуть можно — врага свергнул, над врагом посмеялся... А тут в семействе... Нет, господин Линар, я от вас отделаюсь!»

И вдруг ему стало казаться, что отделаться от Линара очень легко, что можно даже пустить в ход вечное и верное средство. «Да я просто отравлю его!» — едва громко не сказал принц.

И он не спросил у себя, способен ли он на подобное дело? Он даже не заметил, как, при одной мысли об отравлении, он вдруг задрожал всем телом.

Он встал, прошел к себе и приказал закла-

дывать экипаж, чтобы ехать к Остерману.

IV

Андрей Иванович Остерман сидел в своем кабинете. Глаза его не были прикрыты теперь зеленым зонтиком: он откинул толстую шаль, которой закутал было себе ноги, что-то быстро писал, потом оставлял работу и прохаживался по комнате, опираясь на палку.

Лицо его было оживлено, глаза блестели. Вообще в последнее время он чувствовал себя гораздо лучше. Дни невзгод прошли; его промах, сразу показавшийся ему непоправимым, ничто не принес, кроме пользы. Враг свержен и положение Андрея Ивановича теперь так прочно, как даже еще никогда и не было: он один царствует, и даже за границей, говоря о нем, называют его «настоящим русским императором». Из числа сановников нет ни одного, кто бы мог с ним соперничать; все у него в повиновении.

Принц Антон слушается его как ребенок, что же касается до правительницы, то хотя она и не питает к нему особенного расположения, видя его дружбу с мужем, все же не смеет его ослушаться, знает, что им одним

держится огромная машина управления государственного, в котором сама она ровно ничего не понимает и понимать не хочет.

Однако, много и тревожных мыслей у Андрея Ивановича. Внешние дела далеко не блестящи: грозит близкая война со Швецией, а внутри государства беспорядки, ропот, недовольство правительством. Да, тревожное время! Андрей Иванович чувствует, что пришла полоса переворотов, что настоящее положение дел долго не продержится, и он думает, думает, работает неустанно, так работает, что жена его просто иной раз обливается слезами горючими: ей кажется, что совсем изводит себя друг ее сердечный.

Андрей Иванович только что окончил составление важной бумаги, перечел, и остался доволен. Он снова приподнялся с кресла, простонал немного, единственно по привычке, и уже потянулся к своей палке, чтобы походить, да в это время раздался стук в двери. Он сейчас же оставил палку и снова грузно опустился в кресло.

— Кто там?

— Я, — раздался голос графини, — принц

приехал.

— Хорошо.

Остерман поспешно надел зеленый зонтик, закутал ноги шалью и ожидал появления принца.

Принц Антон вошел бледный, расстроенный, присел к письменному столу Остермана и опустил голову на руки, с видом глубочайшего изнеможения.

Андрей Иванович из-под своего зеленого зонтика пристально наблюдал за принцем. Его губы почти незаметно кривились усмешкой.

«Вот человек! — думал он. — Даже и владеть-то этим человеком как — то стыдно становится, ну что ему теперь?»

— Что вы так печальны, принц? Разве случилось что-нибудь нехорошее? — ласковым и почтительным голосом проговорил он.

— Ах, граф, я совершенно расстроен! Я доведен до полного отчаяния; право, кажется, если б не вы, то и не знаю, чтобы я сделал с собою. Но мне нужно окончательно и серьезно переговорить с вами, так продолжаться не может. Я не в силах больше выносить моего

положения.

— Что же? Что такое? Я вас слушаю.

— А то, что моя супруга окончательно забывается. Вы знаете, перед вами у меня нет секретов, я вам уже говорил, что с первого же дня приезда этого Линара она стала неузнаваема. Ну, конечно, и прежде нашу жизнь нельзя было назвать примерной; мы часто ссорились, но все эти ссоры не заходили слишком далеко. А, ведь, теперь... теперь, что же это такое? Я получил окончательную отставку, я ее совсем не вижу, я не знаю, где она, что она делает. Она со мной не говорит, она запирает перед моим носом двери; всюду наставила часовых, не пускает меня даже в сад погулять, и вечно, вечно с Линаром.

— Да-а, — протянул Андрей Иванович, — Линар и меня очень смущает, я сам уже давно думаю, как бы ему указать его настоящее место. Ведь, я его не с сегодняшнего дня знаю, очень хорошо помню и первое его пребывание у нас; это самый невыносимый, самый зазнающийся и честолюбивый человек, какого можно себе представить. Если мы вовремя его не остановим, то еще наплачемся.

— Все это я отлично знаю, — перебил принц, — но что же делать? Как его остановить? Ведь, вы же все выбрали ее правительницей, теперь она и делает, что ей угодно.

— Я-то, положим, не выбирал принцессу правительницей, — заговорил Остерман, — и если б вы раньше ко мне обратились, то еще неизвестно, как бы повернулось дело наше. Однако, что же говорить о том, что прошло, теперь надо придумать, как выпутаться из настоящего положения.

— Затем-то я к вам и приехал, — почти закричал принц Антон, сжимая кулаки и бешено вращая глазами при воспоминании о сегодняшнем утре. — У нас там, положительно, целый заговор, знаете ли до чего дошло? Линар — жених Юлианы.

— Как?

Андрей Иванович даже привскочил на своем кресле.

— Да, да жених! Юлиана мне сама об этом объявила, понимаете? Ловко они придумали: принцесса не расстается с Юлианой, Юлиана не будет расставаться с мужем, понимаете, ведь, это новый Бирон, несравненно еще худ-

ший, нежели первый.

Андрей Иванович задумался.

— Принц, — вдруг произнес он и взял принца Антона за руку, — нужно действовать.

— И скорее, скорее! — закричал тот.

— Да, нужно спешить, нужно, чтобы вы, наконец, решились перейти в православие.

— Да зачем же, Андрей Иванович? Как будто без этого обойтись невозможно.

Остерман улыбнулся.

— Невозможно, вы должны иметь крепкую партию, а партии не получите до тех пор, пока не будете православным. Народ недоволен — я это знаю наверное. Положим, нам и удастся переделать дело и объявить вас правителем, положим, здесь, кругом нас, во дворце, это и будет хорошо принято, но народ все же останется недовольным. Для того, чтобы все оказались на нашей стороне вы должны быть русским, должны быть православным. Мы не остановимся на полдороге, мы поведем дело дальше, вы будете императором!

Принц Антон жадно слушал Андрея Ивановича. Эти планы уже не в первый раз мель-

кали в их разговорах. Но сегодня в первый раз Андрей Иванович высказался так прямо и решительно. И в первый раз принц Антон серьезно и страстно остановился на мысли о возможности такого благополучия.

В первое время по свержении Бирона, в особенности, когда ему удалось уничтожить Миниха, он был совершенно доволен своей судьбою. Ему даже было приятно пользоваться всевозможным почетом и в то же время не иметь никаких обязанностей, не иметь никакой ответственности. Но теперь его снова оскорбили, унизили... У него под руками такой могучий человек как Остерман, с его помощью, действительно, все сделать можно. Да, он должен уничтожить врагов своих, он покажет этой неблагодарной жене, этому презренному Линару, этой коварной Юлиане свою силу. От отчаяния и бешенства, еще за несколько минут владевших им, принц Антон сразу перешел к полному восторгу.

Если Андрей Иванович так решительно высказался, значит, он считает это дело возможным, значит, так оно и будет. Но вдруг одна мысль пришла в голову принца Антона и

он смутился.

— Но что же нам делать с Елизаветой? — сказал он Остерману. — Справимся мы с женой, так, ведь, еще и с этой надо будет справиться. Вы говорите, народ недоволен, но знаете ли, что с каждым днем этот народ думает о ней все больше и больше.

— Очень может быть — проговорил Остерман, — только сама-то она много ли о себе думает? Я, признаюсь, не считаю ее опасной вам соперницей. Одно время я зорко к ней присматривался: я предполагал в ней честолюбивые замыслы, но теперь она меня почти успокоила. Право, мне кажется, что она не тем занята... или, может быть, у вас есть какие-нибудь новые основания, или важные сведения?

— Особенно важного ничего нет, — отвечал принц Антон, — но все же я нахожу довольно много подозрительного в ее поступках. Люди, приставленные мною к этому делу, каждый день мне доносят о всяком ее поступке и всяком движении...

— Ну да, знаю, так что же нового?

— А то, что она все больше и больше сбли-

жается с гвардейцами и все чаще и чаще видится с Шетарди. Этот хирург ее, Лесток, то и дело пробирается во французское посольство.

— Все это, по моему, не опасно, — сказал Остерман. — Я также не упускаю из виду цесаревну и могу вас успокоить.

— Если вы так говорите, граф, то я спокоен, но ведь, все же не следует ослаблять за ней надзора!

— О, это, конечно! — ответил Остерман. — Осторожность не мешает ни в каком случае.

Принц Антон окончательно успокоился, считал себя уже императором и даже вздумал было высказывать Андрею Ивановичу свои предположения относительно того, как он намерен царствовать.

Остерман не перебил его и стал дремать под его мечтанья. Наконец, принц уехал.

Он вернулся во дворец с выражением торжественности во всей фигуре.

Ему захотелось теперь посмотреть и на жену, и на Юлиану. Ему сказали, что принцесса в апартаментах императора. Он прошел туда.

Иоанн III еще не отдавал приказаний часо-

вым заграждать дорогу перед своим родителем, и часовые почтительно пропустили принца Антона.

Он прошел несколько комнат, где то и дело мелькали женщины, приставленные к особе императора, и, наконец, очутился в спальне своего сына. Он увидел принцессу, сидящую у роскошной колыбели. Юлиана была тут же: она что-то толковала почтительно стоявшему перед ней доктору.

Анна Леопольдовна мельком взглянула на мужа и склонилась к колыбели.

— Что такое? — спросил принц Антон. — Разве он нездоров?

— Немного, ваше высочество, — отвечал с глубоким поклоном доктор. — Ровно ничего опасного, однако, все же надо будет принимать прописанную мною микстуру.

Принц Антон подошел к колыбели.

— Пожалуйста, тише, — заметила, не глядя на него, Анна Леопольдовна. — Он спит, вы его разбудите.

Но он не обратил внимания на слова ее. Он сделал знак кормилице, чтобы она встала с табуретки, поставленной у колыбели, и сел

на эту табуретку.

Он осторожно приподнял батистовую занавеску и взглянул на ребенка.

Крошечное создание лежало на вышитой подушке.

Несмотря на тишину в комнате, принц Антон все же не мог уловить слабого дыхания спящего младенца.

«Боже мой, — мелькнуло у него в голове, — а вдруг он умер! Что же тогда будет?»

Он наклонился к самому лицу сына: легкое, почти неуловимое, теплое дуновение коснулось его щеки.

«Нет, он спит, — подумал принц. — Но какой он маленький, какие крошечные, худенькие руки».

— Да отойдите же, вы его разбудите! — шепнула Анна Леопольдовна.

Принц Антон ее не слышал: он в первый раз внимательно глядел на сына. В его сердце зародилось какое-то новое, никогда еще неизданное им чувство. Ему казалось, что он любит этого ребенка; да и, действительно, он любил его в эту минуту.

Он осторожно приложился губами к ма-

ленькой, ручке и несколько минут не отрываясь глядел на кругленькое, обрамленное прозрачным чепчиком личико. Это было странное личико, как-то чересчур спокойное, даже как будто уставшее.

Сердце принца Антона болезненно сжалось. Он забыл все волнения этого дня, все свои ощущения и мысли, забыл разговор с Остерманом и обратился к жене, как будто никаких недоразумений никогда и не было между ними.

— Послушай, Анна, — сказал он, — отчего он такой бледный, такой маленький.

— У него трудный рост, — заметил доктор. — Но, ведь, это еще ровно ничего не значит. Конечно, всячески нужно беречь его и, главное, не возбуждать ничем его внимания, он должен быть спокоен.

— Да, да, — поспешно заметила Анна Леопольдовна. — А вот вы же, — она взглянула на мужа, — вы же все толковали о необходимости показать его посланникам. Никому нельзя его показывать, да и к тому же все обратят внимание именно на то, что он маленький, начнутся всякие пересуды и соображе-

ния. Надеюсь, вы вы не станете теперь вмешиваться в мое решение никого не допускать сюда до тех пор, покуда он не окрепнет?

— Делайте как знаете, — отвечал принц Антон и со вздохом вышел из спальни сына. И долго еще преследовало его это маленькое, бледное личико с выражением такой странной, не детской усталости, с закрытыми глазами и длинными темными ресницами, с крошечными, чуть-чуть вздрагивающими губами. И долго он чувствовал на щеке своей какое-то странное дуновение, поднявшее в нем неведомые ему чувства любви, тоски и неясных опасений.

V

После теплого и ясного дня наступил свежий, лунный вечер. Петербургские улицы мало-помалу утихали. В тишине невозмутимой выделялся на светлом весеннем небе дом цесаревны Елизаветы. Так было тихо в нем и вокруг него, что казалось никто не живет здесь. Только время от времени можно было заметить, как какая-нибудь фигура, выйдя из-за угла, откуда-нибудь по соседству, останавливалась невдалеке от этого дома, зорко посмат-

ривала на цесаревины окна, осторожно обходила кругом, туда, откуда были видны ворота двора и главный подъезд.

Не заметив ничего особенного, фигура уходила мерными шагами. И снова становилось неподвижно и тихо кругом.

Но вот едва слышно скрипнула калитка цесаревнина двора, из нее вышел человек средних лет, огляделся во все стороны — это был Лесток.

— Кажется, никто не подсматривает, — прошептал он. — Вот жизнь! Прогуляться нельзя без соглядатаев. Иной раз так бы вот и искалечил проклятого шпиона, ведь, почти всех их в лицо знаю, да что толку! Еще хуже будет, лучше уж молчать да делать вид, что ничего не замечаю.

Он опять остановился и осмотрелся. «Ну вот, так и есть! — со злостью подумал он. — Вон уже он и крадется. Да сделай одолжение, крадися! подсматривай! А все же — таки не узнаешь ты, куда я иду сегодня!».

И Лесток быстро зашагал, напевая фальшивым голосом какую-то песенку, по направлению к Фонтанной. Он видел или, вернее,

чувствовал, что таинственная фигура следит за ним по пятам, но не обращал на нее никакого внимания.

Дойдя до Фонтанной, он перелез через низкие деревянные перила, окаймлявшие местами речку, и спустился к самой воде. Он еще издали заметил, что тут стоит лодка.

— Эй, лодочник! — крикнул он, и в глубине лодки что-то шевельнулось, откинулась какая-то рогожа, и перед Лестоком, на серебристом фоне почти неподвижной воды, озаренной лунным светом, выросла фигура заспанного и еще ничего не понимавшего лодочника.

Лесток прыгнул в лодку и крикнул:

— Отчаливай.

Лодочник очнулся, разглядел дорогую барскую одежду Лестока и, не вступая ни в какие объяснения, поспешно начал отвязывать лодку.

Через минуту Лесток уже плыл вдоль Фонтанной и не без удовольствия поглядывал на преследовавшую его фигуру.

«Ну что, много узнал! — мысленно обращался он к этой фигуре. — Походи теперь по

берегу, подожди другой лодки, вряд ли дождешься!» — и он плыл дальше.

С полчаса продолжалась эта импровизированная прогулка по Фонтанной, наконец, выбрав безопасное от наблюдений, как ему казалось, место, Лесток, велел лодочнику остановиться, расплатился с ним и вышел на берег.

Убедясь, что некому за ним теперь подглядывать, он прямой дорогой пошел по направлению к дому маркиза де-ла-Шетарди.

Маркиз занимал одно из самых роскошных помещений во всем Петербурге. Он был послан сюда для того, чтобы способствовать всеми мерами сближению между Францией и Россией. Он должен был для этого употреблять все дипломатические средства, какие только признает необходимыми. В числе этих средств он считал, между прочим, блеск и роскошь.

Над его высокомерием, тщеславием и театральными посланническими приемами подсмеивались в Европе, но он не обращал на это ни малейшего внимания.

В Петербург он явился с таким блеском и пышностью, какими до сих пор не окружал

себя ни один посланник. Хотя правительство маркиза выдавало ему не более пятидесяти тысяч ливров в год, но его сопровождала свита, состоявшая из двенадцати кавалеров, одного секретаря, восьми духовных лиц, пятидесяти пажей и целой толпы камердинеров и ливрейных слуг. За маркизом везли его гардероб, которого, конечно, хватило бы на несколько владетельных принцев. Платья маркиза поражали необыкновенным шитьем; некоторые из них осыпаны были дорогими камнями.

Этот удивительный поезд завершала кухня под наблюдением шести поваров и главным руководством знаменитого Barrido, великого артиста кулинарного искусства.

Привезенные маркизом вина не уместились в погребах нанятого им дома, и пришлось нанять еще погреб по соседству. Сто тысяч бутылок тонких французских вин и, между ними, шестнадцать тысяч восьмисот бутылок шампанского были предназначены для того, чтобы закреплять дружбу между Францией и Россией.

По заведенному порядку, Лесток должен

был долго дожидаться в приемной, пока о нем доложили маркизу. Его имя переходило от одного камердинера к другому, наконец, в приемную вошел молодой паж и объявил, что маркиз просит господина Лестока к себе.

Лесток прошел целый ряд роскошно убранных комнат и очутился в кабинете маркиза. На него пахло тонкими благовониями, разлитыми по комнате, на него со всех сторон глянуло великолепие изнеженного французского двора.

Среди всего этого великолепия, навстречу к нему, с мягких эластичных подушек низенького кресла, с вышитым гербом, поднялась изящная фигура французского посланника.

— Очень, очень рад, cher Лесток, что вы ко мне заглянули, давно я вас дожидался.

— Я и сам давно собирался к вам, маркиз, — отвечал Лесток. — Да знаете, ведь, это становится все труднее и труднее: мы окружены и днем и ночью шпионами и должны быть очень осторожны...

— Знаю! — проговорил с легкой гримасой маркиз. — Но, знаю также и то, что принцесса

Елизавета и вы все, господа, ничего не делаете, не хотите ничего делать для того, чтобы выйти из этого страшного положения. Я, наконец, совсем потерял голову, ничего не понимаю. С какой стати принцесса медлит? Она уже пропустила прекрасный случай, а теперь, когда представляется другой, опять время проходит даром. И что же из всего этого вышло? Она отклонила предложение Швеции, прекратила свои отношения с Нолькеном, а это может грозить очень неприятными последствиями для ее планов. Она, в последнее время, и со мною делается скрытною; но, ведь, все же на моих глазах факты, и эти факты убеждают меня с каждым днем все более и более, что теперь-то медлить ей уже окончательно нечего! Право, я готов подумать, что она навсегда отказывается занять престол отца своего!..

— Нет, она от этого не отказывается, — проговорил Лесток, — только хочет это сделать так, чтобы иметь возможность не бояться никаких случайностей, чтобы твердо держаться на этом престоле.

— Я отказываюсь понимать вас, — даже

несколько раздраженным голосом сказал маркиз, и начал в волнении ходить по кабинету. — Я очень уважаю принцессу, я знаю ее блестящие способности, ее ум, но, *cher ami*, она все же женщина, и от нее может ускользнуть много такого, что не ускользнет от умного мужчины. Если она заблуждается и рассчитывает неверно, то обязанность близких к ней людей, — ваша обязанность, потому что она верит вам и слушается ваших советов — убедить ее, доказать ей необходимость того или другого шага. А вы что делаете? Я вас не понимаю! Послушайте, объяснитесь, наконец, раз навсегда и откровенно: скажите, *cher Лесток*, друг вы мне или нет?!

— Если вы удостоиваете меня этой чести, то я друг ваш, — с легким поклоном отвечал Лесток.

— Прекрасно! Теперь скажите мне, согласны вы со мною... согласны вы, что теперь именно наступило самое удобное время для того, чтобы действовать. Взгляните: правительство слабо и шатко и, ко всему этому, совершенно непопулярно: народ не знает правительницы, войско тоже не совсем располо-

жено к ней. Ведь, тогда после свержения Бирона, гвардейские полки шли ко дворцу с убеждением, что будет провозглашена императрицей дочь Петра, и были поражены, пришли в уныние, когда им объявили имя Анны...

Лесток все это хорошо знал, он знал даже гораздо больше. Он знал, что в гарнизонном полку, на Васильевском острове, и в Кронштадте солдаты чуть было не взбунтовались и кричали: «разве никто не хочет предводительствовать нами в пользу матушки Елизаветы Петровны!» Он знал, что с каждым днем популярность Елизаветы возрастает в войске, что каждый день приносит новые доказательства преданности к ней солдат, что их дело зреет не по дням, а по часам. Он работал неустанно над этим делом и начинал приходить к убеждению, что можно будет, пожалуй, достигнуть всего своими собственными средствами, не прибегая к иноземной помощи, за которую потребуются отплата сторицею.

Если он поддерживал сношения с маркизом, то единственно в виду того, что ссорить-

ся с ним было, действительно, невыгодно, что предстояла необходимость сделать у него небольшой заем. Но пусть же этим займом, который будет немедленно выплачен по окончании дела, и ограничится все участие Шетарди, — за маленькую услугу, за кучку червонцев, Елизавета, сделавшись императрицей оплатит французскому маркизу каким-нибудь драгоценным подарком и своим ласковым вниманием. Но ближайшего его участия в ее деле она не хочет, потому что не намерена быть потом неблагодарной, не желает повторения история Анны Леопольдовны с Минихом.

Но, конечно, ничего этого Лесток не сказал Шетарди. Он молча и почтительно его слушал. А маркиз, увлекаемый своим красноречием, ярко описывал положение дела.

— Чего же вы боитесь? — говорил маркиз. — Или, может быть, того, что русский народ возненавидит принцессу, если она воспользуется помощью Швеции, что он будет ее упрекать в том, что она призвала врага в Россию?

— Может быть, отчасти и этого, — прогово-

рил Лесток.

— Но, ведь, это только призрак, и стыдно вам его пугаться. Если принцесса так думает — прекрасно, я допускаю это и повторяю, что несмотря на все ее великие достоинства, она все же женщина — но вы то? Вы то, Лесток, вы должны быть тверже и благоразумнее.

— Я опять должен повторить вам, — сказал Лесток, — что вы приписываете мне слишком много влияния на цесаревну, я просто преданный ей человек, и ничего больше. И у нее такой характер, что если она в чем-нибудь убеждена, что-нибудь решила, так я, по крайней мере, своим маленьким влиянием на нее ничего не могу сделать.

«Нет, положительно тебя подкупить нужно!» — подумал маркиз, взглянув на спокойное лицо Лестока.

— Ну, с вами не сговоришься, — громко заметил он, — делайте, как знаете! Если же ошибаетесь в чем-нибудь, то я буду иметь, по крайней мере, то удовлетворение, что постоянно предупреждал вас. Передайте от меня принцессе, что я умываю руки и что, во вся-

ком случае, она всегда, когда ей уютно, может на меня рассчитывать. Не нужно ли ей чего-нибудь? Не нужно ли ей денег? Как ваши денежные дела?

— Наши денежные дела, — ответил, улыбаясь, Лесток, — как и всегда в плохом положении. Отказываем себе во всем, тратим как можно меньше и все же, несмотря на это, из-за денег принцесса должна выносить оскорбления!

— Оскорбления! От кого?

— От правительницы.

— Что такое? Расскажите.

— Эх! Всего не перескажешь, — отвечал Лесток, махнув рукою. — Да вот вам, например, один случай: принцесса Елизавета просила, чтобы правительство заплатило за нее тридцать две тысячи долгу. На это ей возразили, что она получает теперь достаточно, с тех пор, как Бирон назначил ей пятьдесят тысяч рублей в год. Пришлось заявлять вторично, что и с этими деньгами невозможно расплатиться...

— Ну и что же? Неужели отказали?

— Нет, не отказали, но сделали еще хуже:

заподозрили, что деньги нужны не для уплаты долга, а для каких-нибудь тайных и опасных целей и потребовали, чтобы принцесса представила счета купцов, которым она должна. Ну что же, мы сейчас же представили все счета, из которых оказалось, что долгу вместо тридцати двух тысяч, сорок три тысячи. Положим, что сами себя там в смешное положение поставили, — пришлось платить эти сорок три тысячи, — но можете себе представить, как принцессе приятно выносить подобные оскорбления!

Маркиз пожал плечами.

— Что же, она сама хочет того, хочет! И все, что вы мне передаете, только доказывает справедливость моего мнения и необходимость последовать моим советам. Будьте благоразумны, cher Лесток, переговорите хорошенько с принцессой, а пока предложите ей мои услуги. Конечно, многого теперь в моем распоряжении нет, но вся моя наличная казна к вашим услугам; к тому же, если нужно, я могу достать.

— Вот за это цесаревна будет вам очень благодарна, маркиз — сказал, улыбаясь Ле-

сток. — И мне кажется, мы, в скором времени, должны будем воспользоваться вашей любезностью, но только помните, в одном случае, если вы решаетесь дать деньги вашего короля взаймы принцессе Елизавете, а не будущей русской императрице.

Маркиз как-то запнулся на одно мгновение, но сейчас же подумал: «К чему это он играет эту глупую комедию!»

— Принцессе ли, императрице ли, это мне решительно все равно, — сказал он Лестоку, — я, во всяком случае, почти себя счастливым, что деньги, которыми я могу располагать, попадут в такие прекрасные руки. Да, кстати, *cher ami*, я попрошу и вас принять от меня небольшой подарок.

Лесток выпрямился и на его лице мелькнуло выражение оскорбленного достоинства.

— Нет, маркиз, я от вас не приму никакого подарка, так как сам не имею никакой возможности предложить вам подарок и не смею даже рассчитывать, что вы бы удостоили принять его от меня.

«Что же это такое? — подумал маркиз. — Неужели мне нужно предположить бескоры-

стие этого Лестока? Это совершенно невероятно! Нет, я что-то заленился в последнее время, их всех следует разобрать хорошенько, чтобы не сыграть смешной роли».

Он протянул обе руки Лестоку и осыпал его такими звонкими, блестящими французскими фразами, что тот не нашел никакой возможности вставить свое слово.

Вот маркиз зазвонил в колокольчик и приказал вошедшему слуге принести закуску и бутылку старого бургонского.

— Посмотрите, какое вино, только что получил на днях. Такого вы у меня еще не пивали.

— Эх, пора бы мне и возвращаться домой, — заметил Лесток, — но от ваших вин, маркиз, я никогда не в силах отказаться.

За изысканной закуской и старым бургонским Лесток сумел изгнать все смущающее из мыслей маркиза и убедил его в том, что если Елизавета решится действовать, то, во всяком случае, не обойдется без помощи Франции и что она пуще всего рассчитывает на эту помощь. Под конец он даже принял и подарок маркиза...

Елизавета с нетерпением дожидалась возвращения Лестока.

Вернувшись от маркиза де-ла-Шетарди, он прямо вошел в покои цесаревны.

Его встретила Мавра Шепелева и сейчас же стала журить его.

— Где это вы, батюшка, запропастились? Цесаревна ждет вас не дождется. Думали к ужину вернетесь. Идите скорей, ведь, поздно, давно нам всем спать пора. А у цесаревны к тому же и голова нынче болит. Уж я уговаривала ее раздеться, да нет, и слышать не хочет: все равно, говорит, не засну пока не узнаю о том, что там было.

Лесток поспешно вошел к Елизавете.

— А наконец-то! — сказала она.

— Извините, ваше высочество — начал было оправдываться Лесток, но она его перебила.

— Да уж что тут! Я и без вас знаю, что у маркиза ужин вкуснее моего, а о винах так и говорить нечего! Вон, ведь, как вы помолодели! Какой румянец на щеках!

— Да, вино хорошее, — улыбаясь, прогово-

рил Лесток, — позвольте присесть, ваше высочество, устал я.

— Кто вам мешает, садитесь и рассказывайте.

Он сейчас же покойно уселся в кресло, вытер лицо платком и начал подробно передавать цесаревне свой разговор с маркизом.

— Ну, это все старая история! — заметила она.

— Позвольте, есть и новенькое. Самый интересный разговор у нас был за бургонским. Маркиз просил заверить вас, что всегда король французский рад ссудить вам знатную сумму, но что при этом необходимо, чтобы от вас дано было шведам письменное обязательство.

— Я знаю, что они употребляют все силы для того, чтобы заставить меня решиться на такой поступок, который будет и против моей совести и против памяти отца моего. Но и вы тоже знаете, что я не соглашусь на это, хотя бы даже через мое несогласие пропало мое дело.

— Все это так, ваше высочество, но, обдумав хорошенько, я вижу, что теперь для нас

настало самое серьезное время и что нам не мешает вслушаться в слова маркиза.

— Да, ведь, затем же я и послала вас к нему. Я готова вслушиваться в слова его; что же говорит он?

— Он говорит, что отдаленность мешает королю французскому прямо и непосредственно действовать, и он поставлен в такое положение, что сам, кроме денег, не может предложить вам никакой помощи. Он может только вооружить своих союзников, шведов, которые расположены к вам.

— Знаю я это расположение! — перебила Елизавета.

— Ну да, конечно, маркиз и не скрывает, что за свою услугу шведы потребуют вознаграждения, следовательно, теперь нужно решить вопрос: какого рода вознаграждение можно дать им? Он просит ваше высочество выразить письменно все ваши условия и передать это письменно ему, маркизу, он даст вам клятвенное заверение в том, что этот документ останется вполне тайным и никогда не выйдет из его рук. Он только уведомит короля о его содержании и тогда король употре-

бит все силы и все свое влияние на шведов для того, чтобы они начали войну, которая может доставить вам престол... Потом он говорил о том, что правительница, принц Антон и Остерман сами чувствуют себя здесь иноземцами, что слабое и постоянно трусящее правительство не станет разбирать средств, не станет заботиться о пожертвованиях, лишь бы только отделаться от войны, и купить мир у шведов. А шведы, конечно, воспользуются этим случаем, и что же из этого выйдет? Им будет сделана гораздо большая уступка, чем та, которой у нас просят...

— Маркиз нас пугает и еще большими ужасами, ваше высочество, — продолжал Лесток в то время как Елизавета, опустив голову на руки и не спуская глаз со своего хирурга, сдвинув темные свои брови, вдумывалась в каждое его слово, — маркиз нас пугает тем, что если вы не условитесь заранее со шведами и на прочных основаниях, то они объявят себя за внука Петра, за вашего племянника, — герцога Голштинского, они возведут его на престол, и тогда вы окажитесь навсегда уже удаленною от трона. Вот и все наше объясне-

ние, — закончил Лесток, — от себя я не прибавил ни слова. Все это, действительно, очень важно, и нам необходимо взвесить каждое слово маркиза.

— Да, да, — задумчиво проговорила Елизавета — я сама вижу, что пора действовать решительно, обойтись без чужой помощи невозможно. Слушайте, я сегодня все хорошо обдумала и потом, поджидая вас, мы тут толковали с Шуваловыми, Воронцовым и Разумовским. Еще недавно я надеялась, что можно будет всего добиться, не обращаясь за французскими деньгами и за шведским войском; я все надежды возлагала на одну только преданность мне гвардии и народа. Но вижу теперь, что этого мало — этим можно было бы сделать все, но сделать только так, как сделал Миних, а где же у меня Миних? Я побойчее буду Анны Леопольдовны, но все же я женщина, да и вы все, друзья мои, не во гневе будь вам сказано, не способны дать такого неожиданного генерального сражения, какое дал фельдмаршал. Что же, на него надеяться?.. Вот он, обиженный, оскорбленный ими, стал было ко мне заглядывать. Он, может

быть, ждал, что я буду просить его, но, нет, это опасно. Возвести меня на престол он и возведет, пожалуй, да потом что? Он свяжет мне руки. Нет, мне нужно быть подальше от всех этих немцев, и я не могу ничем быть обязанной человеку, которого не люблю и не уважаю. Он издавна был врагом моим и видит во мне только орудие своих планов. Вон, мне говорили, что солдаты кричат, требуют, чтобы их вели добывать мне престол; да, ведь, это одни только крики. Преданы, да, конечно, преданы, а без денег, без подарков, сами собой, и они не тронутся, ленивы больно. Поневоле приходится прибегать к чужим и соглашаться с маркизом. Завтра же утром ступайте к нему и скажите, что я готова последовать его советам; скажите, чтобы он писал своему королю, что я совершенно полагаюсь на королевскую волю, относительно внешних средств. Пусть он устраивает, как знает, и попросите, если возможно, займы сто тысяч рублей. Эта сумма необходима для того, чтобы в решительную минуту привлечь к себе тех, кого нужно. Скажите ему, что я душевно тронута всеми доказательствами его усердия,

что он может всегда рассчитывать на мою горячую благодарность, но что все же больших уступок шведам я не могу сделать, это противно моей совести, да к тому же приведет меня только к справедливым упрекам со стороны моего народа.

Елизавета говорила взволнованным голосом, на глазах ее блеснули слезы.

— Но все же, ваше высочество, — перебил ее Лесток, — нам нужно будет указать — на какие уступки вы согласны.

— Какие уступки? Земельных — никаких, денег сколько угодно. Я готова вдвое, втрое заплатить за все их издержки, только чтобы не заставляли меня быть неблагодарной перед моим народом и перед памятью моего отца.

Цесаревна опустилась в кресло, на лице ее выражалась усталость.

Лесток почтительно простился с нею и вышел.

По его уходе цесаревна позвала Мавру Шепелеву, передала ей о предложениях маркиза и о своем решении.

— Так, матушка, так, родная моя, — говори-

ла Шепелева, кивая головою в знак своего полного одобрения, — точно, пора уже начинать решительное, а то что же так-то: все завтра да завтра! Пора нам с тобою пожить и на своей воле. А теперь давай спать — поздно, наши все давно завалились, чай, теперь уже и золотые сны видят.

Елизавета прошла в спальню, быстро разделась, отослала служанок и опустилась на колени перед образами, яркие ризы которых, усыпанные самоцветными камнями, блестели и переливались при свете лампы, неугасимо теплившейся днем и ночью.

Долго и жарко молилась Елизавета, но все не нашла полного успокоения в молитве, всякие мысли, перебивая одна другую, приходили ей в голову. Она легла в постель, но ей не спалось... Она перебирала в памяти всю свою жизнь за последнее время. Она так боялась решиться на какой-нибудь необдуманный опасный шаг. Но все, что она вспомнила, все, о чем думала, возвращало ее к одной и той же мысли, что нужно решиться, что или теперь, или никогда.

Действительно, положение цесаревны

день ото дня становилось тяжелее. Только и вздохнула она свободнее, что в короткие дни регентства Бирона, когда он оказывал ей всякие любезности. Но, ведь, за этими любезностями скрывался дикий, смешной план выдать ее за шестнадцатилетнего принца Курляндского — так и это спокойствие было только кажущимся. А уж потом, по свержении регента, опять вернулось самое лютное время! На правительницу Елизавете нечего было особенно жаловаться, с нею бы она примирилась и справилась — та не зла, да и сама по себе даже не особенно подозрительна, она вся ушла в свои собственные дела и чувства. Она не была решительным врагом цесаревны, первыми врагами были принц Антон с Остерманом.

Она знала, что со всех сторон окружена западнями, что ее стерегут, как зверя. Принц Антон приставил офицера Чичерина с десятью гренадерами следить за каждым ее движением. Он переодел их в шубы и серые кафтаны и поселил близ дома цесаревны. Потом к ним присоединены были аудитор Барановский и сержант Обручев. Она не могла шагу

ступить из дому, чтобы не встретиться с невыносимыми волчьими Глазами.

Когда узнали, что фельдмаршал Миних как-то приехал к цесаревне, в конец все перепугались; верные люди донесли Елизавете, что принц Антон уверил правительницу, будто Миних и она уже сговорились и что беды следует ожидать с часу на час. Анна Леопольдовна так перетрусилась, что каждый вечер меняла свою спальню, боясь, что вот-вот ее схватят.

Но цесаревна все же не знала многих подробностей, которые потом вышли наружу. Принц Антон не из своей головы только выдумал все эти страхи, он, действительно, был перепуган не на шутку. Ему постоянно доносили о всевозможных толках между солдатами и дворцовой женской прислугой. Ему рассказывали за самое верное, что Миних был однажды у цесаревны и, упавши ей в ноги, просил ее довериться ему, говорил, что если ее высочество ему прикажет, то он готов все исполнить и что будто бы на это цесаревна сказала ему: «ты ли тот, который дает корону кому хочет? Я оную и без тебя, ежели поже-

лаю, получить могу».

Другие варьировали этот ответ цесаревны так, что она будто бы сказала Миниху, что он сам знает, чего ей надобно и на что она имеет право, что она очень ласково обошлась с фельдмаршалом и провожала его до крыльца.

Принц Антон ни на минуту не усомнился в верности этих рассказов. Объявлял всем о том, что Миних уже предложил свои услуги Елизавете. Конечно, после этого он почел себя в праве увеличить число шпионов, приставленных к цесаревне, и дал главному из них, Чичерину, такую инструкцию:

«Если Миних поедет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец. Если же поедет к цесаревне, то взять уже на возвратном пути от нее».

«Так чего же еще дожидаться? — думала цесаревна. — Во дворец появишься — все на тебя косятся, со всех сторон только недружелюбные взгляды видишь. У себя запереться — все равно за каждым шагом следят. Где и нет ничего, так выдумают. Принц Антон зол, а Остерман и того злее, сплетают всякие небывлицы и доведут-таки, что правительница под-

пишет им что угодно».

«Ведь, заставили же ее так неблагодарно, так неблагородно поступить с Минихом, так уж со мной-то разве она поцеремонится; чай, она давно и забыла о том, что я могла выдать ее Бирону и не выдала. Нет! Что будет, то будет, а ждать и терпеть больше невозможно!..»

VII

С этого дня возобновились постоянные и тайные переговоры Лестока с маркизом де-ла-Шетарди.

Маркиз чрезвычайно обрадовался решению Елизаветы, таким образом, в конце концов, он все же достигнет исполнения данной ему его правительством инструкции. Елизавета будет на престоле, немецкое правительство и связь между этим правительством и Западной Европой рушится. Россия снова очутится на востоке, вернется к допетровскому времени. Он не сомневался, что Елизавета — вполне русская по своему характеру, ненавидящая иноземцев, любящая народ свой, сейчас же по вступлении на престол переедет в Москву, знатные люди снова вернутся в свои поместья, флот будет оставлен на произвол

судьбы: Швеция и Франция освободятся от сильного врага.

Елизавета любит французов, ненавидит англичан; при ней, конечно, место английской торговли в России займет французская.

Каждый день посылал маркиз свои депеши во Францию, и Версальский двор начал содействовать возбуждению войны между Швецией и Россией. С этой стороны все было хорошо, но маркиз продолжал-таки не понимать Елизавету. Он видел, что от него или многое скрывается, или дело внутри России идет плохо. Сторонники Елизаветы не подают о себе голоса, как будто бы у цесаревны и во все нет никакой партии, к тому же скоро до маркиза начали доходить слухи, что Анна Леопольдовна и принц Антон знают о заговоре, и если медлят, то единственно для того, чтобы вернее схватить всех заговорщиков.

Эти слухи были справедливы только отчасти, правительство не знало ничего верного, но основывалось на темных доносах. Все больше и больше начинали подозревать Елизавету. Даже Остерман отказался от своего взгляда на нее и посоветовал принцу Антону

всякими способами привлекать на свою сторону гвардейцев.

Принц Антон, конечно, сейчас и последовал его совету. Он начал с того, что велел призвать к себе одного капитана семеновского полка, который не раз выражал свою приверженность к Елизавете.

Капитан явился очень изумленный и перепуганный. Он застал принца вместе с генералом Стрешневым — зятем Остермана.

Принц Антон встретил капитана так мило, что тот окончательно смутился и совсем уже не знал, что и думать.

— Что с тобою? — сейчас же спросил принц. — Я узнал, мне сказали, что ты в последнее время очень печален, грустишь, может быть, ты чем-нибудь недоволен?

Капитан мало-помалу оправился от своего смущения и страха и отвечал:

— Как же мне не грустить, ваше высочество? Положение мое плохое, семейство у меня велико очень, а именишко маленькое, да и далеко, за Москвою, никакого дохода оттуда и получить невозможно.

— Но это еще не Бог знает какое горе! — от-

вечал принц. — Я ваш полковник и хочу, чтобы все были довольны и счастливы и чтобы вы были моими друзьями! Обращайтесь ко мне откровенно, и я всегда буду помогать вам.

И принц Антон подал капитану кошелек с тремястами червонцев, а сам поспешно вышел из комнаты.

Изумленный и обрадованный капитан не знал, как ему и поступить теперь. Он не успел поблагодарить принца; что ж, остаться здесь дожидаться его возвращения или уйти?

Стрешнев вывел его из нерешимости.

— Принц, как человек очень деликатный — сказал он. Не любит, чтобы его благодарили. Ты можешь идти домой, да расскажи своим товарищам о поступке принца, у вас в полку мало его знают, мало ценят! Ты сам теперь видишь, что это за золотой человек! Доброта его и любовь к русскому войску беспредельны, а правительница — о ней уж и говорить нечего, она просто ангел! За то их так и уважают во всей Европе. Ну, посуди ты сам, когда у нас до сих пор был такой съезд министров в Петербурге? Все европейские дворы

наперерыв спешат выразить свое почтение и преданность правительнице и ее супругу. Да, они не то, что цесаревна Елизавета, ту европейские государи и знать не хотят, да и народ ее не уважает. Вон поговаривают, что она теперь чем-то недовольна, набирает будто приверженцев, только ничего из этого она не делает, ничего не добьется. Только себя в конец погубит, да погубит и тех приверженцев. Не ей бороться с такими особами, как принц и принцесса. Генерал Стрешнев замолчал, в полном убеждении, что высказал все, что нужно, и что слова его и поступок принца должны непременно подействовать на капитана.

Тот выслушал молча и откланялся генералу. Вернувшись к себе, он, конечно, тотчас все рассказал товарищам и они много смеялись над тем, как Стрешнев взялся не за свое дело, вздумал им зубы заговаривать.

Этот рассказ скоро дошел и до цесаревны, и она не мало ему смеялась.

— Что ж, ничего, — говорила она своим приближенным, — пускай они продолжают так поступать, этим только доказывают, как

меня боятся и как сами-то слабы.

Но все же ее положение было далеко не блестящее, надзор за ее действиями был еще усилен.

Однажды Лесток, выходя из дворца Елизаветы, чуть было не попал в руки шпионов. За ним уже бежали и он едва-едва спасся, скрывшись в дом одного своего знакомого. Он так перетрусил, что перестал выходить из дому и объявил присланному к нему секретарю шведского посланника Нолькена, чтобы теперь тот и не ждал его к себе, потому что, как только он выйдет на улицу, так будет сейчас же арестован. И говоря это, он весь так и трясся от страха, при малейшем шуме хватался за голову и повторял:

— Что ж, ведь, я погиб теперь, погиб, да и все мы погибли — того и жди, что цесаревну отравят или зарежут.

Мавра Шепелева ходила по комнатам как потерянная и все охала. За обедом и ужином она глаз не спускала с цесаревны, отведывала прежде сама всякое кушанье. Один раз ей даже показалось, что она отравлена, и хотя Лесток и разуверял ее, но она чуть было серьез-

но не разболелась от страха.

Елизавета долго крепилась и подшучивала над своими домашними, но, наконец, их уныние, их ужас сообщались и ей, и она проводила мучительные дни и бессонные ночи. Она не ездила уже в свой Смольный дом, не устраивала там танцев, как, бывало, делала прежде, не развлекалась прекрасным пением Разумовского. Где уже теперь, не до песен! Никто не слышал ее прежнего смеха, не видел ее улыбки. С каждым днем все тише и мрачнее становилось во дворце ее.

Был один выход: согласиться на все требования шведов, обещать им разные земельные уступки; но, несмотря на всю тяжесть своего положения, несмотря на свой страх и действительную, может быть, опасность, которая окружала ее, она ни разу не поколебалась и стояла на своем: «не могу идти против совета», — говорила она.

Редко появлялась Елизавета во дворце, только тогда, когда этого окончательно требовали приличия и когда ее звали. Там с ней обращались довольно любезно. Правительница иногда даже ласково и дружески беседовала с

нею, даже водила ее в спальню императора. Но она замечала косые взгляды, перемигивание и перешептывание, видела, как ее боятся и как готовы, при каком-нибудь новом доносе, покончить с нею.

Один из ее приближенных, Воронцов, человек решительный, энергичный, каждый день умолял ее разрешить ему действовать и довериться гвардии. «Не нужно никаких шведов, никаких французов, не нужно денег: все обделаем сами».

Но она ужасалась такой решимости, она страшилась неудачи. Ей мерещились сцены пыток и смерти людей ей близких. Она плакала, молилась, доходила до отчаяния.

Как-то, измученная своими мыслями, она вышла из дома в сопровождении Мавры Шепелевой и прошла в Летний сад, на ту его сторону, которая была открыта для публики. Она медленно шла своей любимой аллеей.

Был ясный вечер; кругом цвели липы. Этот вечер, эта аллея напоминали ей многое из давно прошедшего времени, из времени ее первой счастливой юности, когда она еще была полна радостью жизни, ни над чем не за-

думывалась, не замечала своего трудного положения, не предвидела никаких будущих бедствий, жила настоящей минутой, думала только о забавах, была, так же радостна, так же прекрасна и безмятежна, как эта летняя природа. Много давно забытых, давно погибших лиц мелькало в ее памяти, и ей казалось, что в числе этих погибших, умерших людей и сама она: такая огромная разница была между ею — прежнею и ею — теперешнею. Невольные слезы полились из глаз ее и она прижалась к плечу своего верного друга, Мавры.

В это время из-за поворота дорожки показалось несколько офицеров. Они давно уже поджидали и подкарауливали цесаревну. Они, увидели ее расстроенною, плачущею, невольно остановились, не смея сразу подойти к ней.

У них, у всех, защемило сердце и в то же время они любовались на эту чудную красавицу, которая была еще краше, еще сильнее влекла к себе, облитая слезами, в ореоле страдания.

Но они должны были говорить с ней, ина-

че кто-нибудь помешает.

Вот один из них выступил вперед и пошел к ней навстречу; за ним, почтительно сняв шляпы, медленно подвигались другие.

Елизавета, увидя их, поспешно отерла свои слезы и старалась улыбнуться.

— Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои, — говорила она. — Погулять вышли? Да, сегодня такая славная погода. Гуляйте, гуляйте!

— Нет, матушка-цесаревна, — дрогнувшим голосом начал подходивший к ней офицер, — не гулять мы вышли — тебя здесь поджидали. Давно нам нужно тебя видеть, матушка, не можем мы дольше терпеть, не можем видеть заплаканными твои ясные очи. Скажи слово — мы готовы все и только ждем твоих приказаний. Вели же нам идти за тебя: все, как один человек, за тебя живот наш положим.

— Матушка, золотая наша, красавица! — восторженно прошептали остальные офицеры. — Разреши!

Она благодарно и в то же время испуганно взглянула на них.

— Ради Бога, молчите, — сказала она. — За

мною со всех сторон наблюдают, вас услышат. Не делайте себя несчастными, дети мои, да и меня не губите! Ради Бога, разойдитесь скорее, ведите себя смирно!. Время еще не пришло, а как придет, я велю вам сказать заранее...

Офицеры молча и печально склонили головы. Она прошла мимо и возвратилась домой окончательно расстроенная. А дома ее ожидали новые известия о преданности ей гвардейцев. Разумовский пришел доложить ей, что без нее пробрался к ним семеновский капитан, — тот самый капитан, который получил триста червонцев от принца Антона — и объявил, что цесаревна может располагать его ротою и что он ручается за всех своих товарищей.

Она опять плакала, опять ломала в отчаянии руки и никак не могла решиться. Она не наследовала от отца своего энергии, в ней теперь, более чем когда-либо, сказывалась добрая, слабая женщина. Чем больше являлось у нее сторонников, готовых положить за ее жизнь свою, тем больше она ужасалась, тем больше представлялось ей несчастий, кото-

рых она может быть причиной.

Вот она узнала, что Нолькен уезжает в Швецию и просит принять его для прощальной аудиенции. Она приняла, конечно, и он стал ее уговаривать дать ему письменное обязательство, которое необходимо ему для того, чтобы он мог решительно говорить в Стокгольме.

Но она не давала этого обязательства, она говорила, что не помнит хорошенько требований Нолькена.

— Как же это? — заметил удивленный посланник. — Ведь, копия, здесь описанная г. Лестоком, у вас, а подлинник ее и теперь со мною. Угодно — я сейчас же покажу вам его, и мы можем немедленно окончить дело! Вашему высочеству стоит подписать и приложить свою печать.

Но она отказалась. Она только, уверяла Нолькена в своей благодарности Швеции и сказала ему, что если произойдут решительные действия со стороны Швеции, то и она немедленно начнет действовать решительно, тогда она оставит предосторожности, которые теперь необходимы. Она призналась, что

гвардия за нее и что с этой стороны можно быть спокойным.

— Я буду действовать решительно, даю вам в этом слово, но только тогда, когда уверюсь, что нужно ожидать неопременного успеха, когда мне будет ясна помощь со стороны Швеции; а теперь перестанемте говорить об этом. Я уверяю вас, что окружена со всех сторон врагами, и даже здесь есть люди, на которых я не могу положиться. Завтра я пришлю к вам Лестока.

Лесток, действительно, явился на другой день к Нолькену, но не привез письменного обязательства, привез только письмо Елизаветы к ее племяннику, принцу Голштинскому.

Нолькен вышел из себя.

— Что же это, наконец, такое? — говорил он. — Я так на вас надеялся, а вы, очевидно, обманывали мое доверие — вы не передавали цесаревне всего того, что передавать обещали!..

Лесток начал оправдываться так же, как он оправдывался и перед Шетарди.

— Что же я могу сделать, — говорил он, —

если цесаревна по несколько дней на меня сердится каждый раз, как я упомяну ей о письменном обязательстве. К тому же я и не мог на этом настаивать уже потому, что вас могли схватить, несмотря на то, что вы посланник, а в таком случае письменное обязательство, найденное в ваших бумагах, погубило бы и цесаревну, и всех нас.

Нолькен решился на последнее средство: предложил Лестоку хороший подарок.

Лесток почему-то вдруг оказался менее щепетильным: принял подарок, обещал приехать еще раз. Нолькен ждал его, ждал, да так и не дождался и выехал из Петербурга без письменного обязательства.

Прошло с месяц; из Швеции не было почти никаких известий.

Цесаревна все реже и реже выходила и выезжала из дому. Она боялась новой встречи с гвардейскими офицерами.

Принц Антон по-прежнему ежедневно выслушивал донесения своих шпионов с Остерманом, и тот уверял его, что скоро можно будет приступить к решительным действиям. Только вот теперь следует обождать немного,

чем кончится натянутое положение со Швецией, да нужно еще устроить дела семейные. Теперь трогать правительницу слишком жестоко, она нездорова: скоро должна разрешиться от бремени. Что касается до цесаревны Елизаветы, то Остерман придумал верное средство избавиться от нее: в Петербург приехал брат принца Антона, принц Людвиг Вольфенбюттельский...

Через несколько дней правительница пригласила цесаревну и предложила ей выйти замуж за этого принца.

— Вам будет выплачиваться, сестрица, кроме приданого, назначенного русским принцессам, ежегодный пенсioen в пятьдесят тысяч рублей; вам будут даны Ливония, Курляндия и Сенегалия...

Этими заманчивыми обещаниями думали прельстить Елизавету, но она отвечала, что всем давно известно ее решение никогда не выходить замуж и что она на это не может согласиться.

Правительница вышла из себя. От ласкового тона и родственных упрашиваний она перешла чуть не к угрозам.

Елизавета вернулась домой бледная, раздраженная, а на другой день уехала в деревню, чтобы только как-нибудь забыться, быть подальше от всех этих мучений и преследований.

VIII

Не долго пробыла цесаревна в деревне. Отдохнуть не удавалось. Тревожные мысли не уходили, страшно было в Петербурге, а тут, пожалуй, и еще страшнее, того и жди упущение в делах выйдет, того и жди нагрянет такая беда, которую можно было бы предотвратить своим присутствием.

И цесаревна вернулась в город. Из тишины деревенской снова окунулась в самую глубь тревожной придворной жизни. Друзья сейчас же явились с целым коробом новостей, всевозможных рассказов, сплетен, слухов, так что невозможно было догадаться, чему во всем этом следует верить, что ложь, а что правда. Несомненным было только одно: с каждой минутой приближающийся, окончательный разрыв с Швецией.

Цесаревна явилась во дворец. Там все было тихо: все шептались, старались ходить чуть

слышно — Анна Леопольдовна на днях разрешилась от бремени дочерью Екатериной.

Входя в апартаменты правительницы, Елизавета встретила с Линаром. Он молча и даже как-то свысока поклонился ей и прошел мимо.

«Неужели у них уже дошло до того, что даже все приличия забываются? Неужели его принимают в постели?» — невольно подумала она.

Она пошла дальше. Ее сейчас же впустили к правительнице.

Анна Леопольдовна лежала, повязанная своим неизменным белым платочком; ее руку держала неизменная Юлиана.

Недалеко от кровати помещалась маленькая пышная колыбель, вокруг которой возилось несколько женщин.

Елизавета поздравила правительницу. Та приподнялась с подушек и поцеловалась с нею.

— Очень рада вас видеть, сестрица. А то я уже хотела посылать за вами; право, напрасно вы уехали в деревню; мы очень веселились... вот только теперь скука смертель-

ная — уложили меня и вставать не позволяют... А я, право, совсем здорова... отлично себя чувствую. Девочка тоже ничего... Взгляните, она не спит теперь.

Цесаревна подошла к колыбели, разглядела крошечное создание, тихонько наклонилась над ним и осторожно, сдерживая дыхание, поцеловала маленькую ручку. Она очень любила детей, и вид новорожденного ребенка всегда поднимал в ней всю ее природную нежность.

Она невольно замешкалась над колыбелькой и невольно вздохнула. Ей пришло на мысль: что-то будет с этой крошечной девочкой? Какая судьба ее ожидает? Быть может, одним из первых сознательных чувств этого ребенка будет ненависть к ней... Зачем все так тяжело, так дурно устроено на свете? Зачем самый справедливый поступок влечет за собою зло неповинным? Зачем столько ненависти? Зачем люди не знают и никогда не узнают друг друга?

Цесаревна еще раз вздохнула и вернулась к Анне Леопольдовне.

Она заметила, как та сделала какой-то

условный знак Юлиане. Юлиана сейчас же встала и вышла из комнаты.

Правительница заговорила любезно и ласково. Спрашивала не нужно ли что-нибудь сестрице и кончила тем, что снова намекнула на принца Вольфенбюттельского.

Елизавета вспыхнула и даже отдернула свою руку, которую держала правительница.

— Я думала, ваше высочество, — сказала она, — что этот разговор окончен между нами. Неужели вы считаете меня настолько легкомысленной, чтобы двадцать раз изменять свое решение? Не будемте говорить об этом.

— Это очень жаль, — сухо ответила Анна Леопольдовна. — Я надеялась, что в деревне вы обсудите все выгоды нашего предложения и его примете.

Елизавета даже ничего не возразила на это, сказала несколько незначительных фраз и поспешила откланяться.

Только что она вышла, как Юлиана вернулась к своему посту.

— Ну что? — спросила она.

— Отказывается. И говорить не хочет даже! — раздраженным и злым голосом про-

шептала Анна Леопольдовна. — В самом деле, она начинает забирать себе много воли, думает, что так все и может делать по своему. Но, ведь, если добром не хочет, так можно ее и принудить.!

— Однако, как же принудить? — заметила Юлиана. — Тоже раздражать очень нельзя — она не одна, за нею стоит довольно много народу, у нее есть заступники.

— Так что же нам делать? — почти закричала Анна Леопольдовна. — Неужели отказаться от этого плана? Ведь, у всех были бы развязаны руки, если бы она согласилась выйти замуж...

— Да, конечно; но только действовать нужно не насилием, лучше попросить какого-нибудь ловкого человека уговорить ее.

— Кого же попросить?

— Да хоть Левенвольде, — ответила Юлиана. — Кстати он здесь, приехал осведомиться о твоём здоровье.

— Ну и прекрасно, попроси его сюда ко мне.

— Сюда? — изумилась Юлиана. — Да, ведь, это сочтут совершенно неприличным.

— Напротив, — сказала Анна Леопольдовна. — Напротив, если я принимаю одного, то могу принимать и других, меньше будет разговоров.

— Пожалуй и так, — согласилась с нею Юлиана и вышла звать Левенвольде.

Обер-гофмаршал очень изумился, что правительница принимает его в постели и еще более изумился, когда узнал, чего она от него хочет. Он хорошо знал, что уговорить Елизавету, особенно ему, невозможно.

— Я не могу идти к цесаревне с такой позициею, — сказал он. — Потому что это будет совсем неприлично и она только оскорбится. Не изволите ли вы сами, ваше высочество, поговорить о том с нею?

— Да я уже говорила, она не слушает! — откровенно и наивным тоном призналась правительница.

— Ну, так что же я-то могу? Я уже совсем ничего не могу.

Впрочем, Анна Леопольдовна с Юлианой и сами поняли, что придумали вещь неподходящую, и отпустили Левенвольде.

А цесаревна, вернувшись к себе, была

встречена известием, что несколько гвардейских офицеров, узнав о ее приезде, пробрались к ней тихонько и умоляют ее выйти к ним и их выслушать.

— Безумные, что они делают! — воскликнула цесаревна. — Будто не знают, что уже теперь во дворце наверно известно о их пребывании здесь, у меня.

Но все же она к ним вышла.

Офицеры умоляли простить их за смелость и объявили, что они посланы всеми товарищами узнать, справедлив ли тот слух, будто она выходит замуж за принца Вольфенбюттельского.

— Да нет же, нет! — отвечала им Елизавета. — И меня даже обижает, что мои друзья гвардейцы могут верить подобному слуху. Будто вы меня не знаете, разве я могу решиться на такое дело? Мало ли о чем толкуют и мало ли чего желают! Возвращайтесь к себе как можно осторожнее, чтобы вас не заметили... Успокойте товарищей, не тревожьтесь по пустому, теперь самое первое дело, чтобы все у вас было спокойно и чтобы вы не возбуждали подозрений. Сказал, ведь, — придет

время — кликну, а теперь ждите!..

Офицеры почтительно поцеловали протянутую им руку и ушли успокоенные.

Отпустив их, цесаревна призвала Лестока и сказала ему, чтобы он, при первой возможности, отправился к секретарю шведского посольства, Лагерфлихту, и сказал ему от ее имени, что если шведы будут еще медлить, то дело может повернуться в другую сторону, расположение умов изменится. Нужно спешить с объявлением войны, потому что правительство не щадит ничего: принц Антон, наущаемый Остерманом, рассыпает направо и налево обещания и награды для приобретения себе приверженцев.

— Скажите ему, — говорила Елизавета, — что уже кое-что слышала и сообразила. Положим, они там все кричат теперь, что нисколько не боятся шведов, что будут действовать быстро и решительно, но это только одни слова и крики. Если шведы явятся как защитники прав потомства императора Петра, то русские войска не захотят воевать с ними. Если Лагерфлихт будет настаивать на том письменном обязательстве, скажите ему, что я

подпишу, если дела примут хороший оборот и мне нечего будет опасаться. Скажите, что я обещаюсь вознаградить Швецию за военные издержки с первой минуты начала действий, что я буду давать Швеции субсидии во все продолжение моей жизни, предоставлю шведам все те торговые преимущества, которыми теперь пользуются англичане, откажусь от всех трактатов и конвенций, заключенных между Россией, Англией и Австрией, не буду ни с кем вступать в союз, кроме Швеции и Франции, буду содействовать Швеции всеми мерами и тайно ссужать деньгами, когда будет нужно. Вот все, что я могу им обещать — кажется, этого достаточно!?

Лесток выслушал цесаревну молча и поспешил исполнить ее приказание. Теперь он уже победил свой страх, не дрожал больше от шума на улице и даже решился выходить из дому, видя, что никто его не арестует и что они, во всяком случае, сильно преувеличили опасность.

Стали проходить дни за днями. Вот уже и лето кончается. Цесаревна встает рано, ложится поздно, весь день проводит в хлопотах:

то толкует со своими приближенными, то посылает Лестока к Шетарди, то сама принимает маркиза. После робости и какой-то временной апатии на нее вдруг напала смелость, решительность. Она всеми силами старается не думать об опасности, думать только о достижении цели. Со всех сторон верные люди приносят добрые вести: говорят, что в городе стоит ропот, вольные суждения о действиях правительства.

Разумовский, почти целые дни проводя на улице, заводя знакомство с людьми различных состояний, под вечер приходит и рассказывает, что никаких шпионов не боятся в городе, а прямо кричат, что теперь стало даже хуже, чем во времена бироновщины. Тогда нужно было кланяться одному Бирону, а теперь этих Биронов стало больше дюжины — и не счесть фаворитов и фавориток правительницы, и каждый из них кто во что горазд. Про саму Анну Леопольдовну рассказывают даже люди во дворец вхожие, что она день ото дня становится суровее, скрывается, никого к себе не пускает. Недобрые, незаконные дела творятся! Она вон мужа своего не терпит, к себе в

комнаты не пускает. Да и чего путного ждать от нее: с самого детства дикая, и мать бивала за дикость. Много рассказывают, о многом толкуют, всего и передать невозможно. А заговарят о цесаревне Елизавете и у всех сейчас улыбка на лицах является: «Вот так царевна! Ни от кого она не скрывается, всех встречает приветливо. Войдешь к ней, так и выйти не хочется, все бы смотрел на нее, любовался!»

Подобные рассказы, передаваемые обыкновенно вечером, за ужином, и ежедневно накоплявшиеся, много содействовали оживлению всех окружавших Елизавету. Даже и Мавра Шепелева оставила свои страхи: перестала пробовать кушанья, подаваемые цесаревне. Надежды на близкий и счастливый исход из всех опасений и несчастий росли быстро. Скоро за вечерней трапезой цесаревны уже стали обсуждаться такие, например, вопросы: «кого мы будем награждать и кого наказывать». У Мавры Шепелевой, Шуваловых и всей компании заранее сжимались кулаки на Остермана, Миниха и других старых недругов. Только одна цесаревна качала головою, когда замечала, что друзья чересчур рас-

ходились.

— Не злобствуйте, — говорила она. — Коли Бог мне поможет, так не для того, чтобы я творила жестокости...

Наконец, пришла радостная весть, еще более поднявшая дух елизаветинской партии: шведы объявили войну.

Переговоры между Лестоком и Шетарди велись оживленнее и оживленнее.

Шетарди писал Версальскому двору:

«Считают очень важным, чтобы герцог голштинский был при шведской армии, не сомневаясь, что русские солдаты положат перед ним оружие в минуту сражения: так сильно в них отвращение сражаться против крови Петра I. Думают, что было бы очень полезно публиковать в газетах, что герцог голштинский в армии, или, по крайней мере, в Швеции. Желают, чтобы между войсками и внутри страны было распространено письмо, в котором бы указывалось на опасность для религии при иноземном правлении».

Потом Шетарди требовал, чтобы шведы издали прокламацию, в которой бы объявили, «что восстали для поддержки прав потомства

Петра I».

И вся эта внутренняя жизнь двора Елизаветы оставалась тайною для правительства. Шпионы доносили о том, что Шетарди ездит к цесаревне, но большего донести они не могли.

Правительница и Остерман с принцем Антоном продолжали очень подозрительно смотреть на Елизавету, придумывали новые комбинации, чтобы от нее избавиться, но куда ничего не могли придумать. К тому же Остерман весь был поглощен внутренними и внешними делами, мыслями о том, как бы самому прочнее утвердиться и успешнее, подготовить дело принца Антона, которому теперь помешала война, объявленная Швецией.

А правительнице легко было забывать о цесаревне: она была опять здорова и думала только об удовольствиях и о Линаре.

Во дворце шли праздники за праздниками и на этих праздниках Линар являлся звездой первой величины. Теперь он уже был Андреевским кавалером, ему делался подарок за подарком; о его предстоящем браке с Юлианою Менгден было всем объявлено.

У всех голова кружилась; все запутывались в массе, разнородных, со всех сторон приходящих, известий; все думали о себе, о собственных выгодах, — и среди этого всеобщего хаоса цесаревна начинала чувствовать себя более безопасной и свободной. Она появлялась на всех придворных балах и праздниках, и внимательный наблюдатель должен был поразиться переменой, происшедшей с нею. Совсем иначе и глядела она, и говорила: прежней робости, осторожности и следа не осталось.

Но такого наблюдателя не было. Остерман не появлялся на празднества, волей-неволей продолжая разыгрывать роль недвижимого больного, и ни разу даже не пришла ему добрая мысль в голову: хоть на носилках появиться на бале и взглянуть на цесаревну. Если бы он взглянул на нее теперь, то может быть увидел бы яснее, как нужно ему поступать и о чем думать. Но, видно, и для оракула пробил час. Он продолжал работать так же неустанно, как и прежде, голова его так же трудилась над измышлениями всевозможных хитросплетений, но результаты этой ра-

боты были далеко не прежними.

Особенно один бал во дворце оказался очень удачным: только что получилось известие о том, что войска готовы идти на шведов и находятся в самом лучшем состоянии и настроении духа.

Правительница появилась, сверх своего обыкновения, роскошно, изысканно наряженною, протанцевала с Линаром, ласково поздоровалась с цесаревной. Елизавета была нарядна и сияла красотою.

Она тоже танцевала с увлечением и уже не чувствовала себя окруженною врагами. Эти враги казались ей теперь крошечными и вполне безопасными, возбуждали ее природную насмешливость.

Вот она заметила в числе гостей маркиза де-ла-Шетарди и подошла к нему.

— Смотрите, маркиз, — сказала она, — как все радуются, как довольны: они так уверены в победе над шведами. А вы, разделяете ли вы эту общую уверенность?

Маркиз пожал плечами.

— Да, — сказал он, — действительно, теперь здесь много интересного для наблюде-

ний. Мы с удовольствием будем вспоминать этот вечер.

Недалеко от них стоял принц Вольфенбюттельский и мог слышать их разговор, но Елизавета ничуть этим не смутилась. Напротив, она прямо указала на него Шетарди и заметила:

— А этот мой новый жених как вам нравится? У меня был бы слишком дурной вкус, если бы я согласилась на это милое предложение. Право, эти люди думают, что у других нет глаз, когда сочиняют такие прекрасные проекты, а, ведь, сами-то как слепы! Правительница говорила мне недавно самым шутивым и наивным тоном, что наверное скоро будут думать, что граф Линар и фрейлина Менгден сделаются новыми герцогом и герцогиней Курляндскими. Как вам нравится эта наивность, маркиз?

Шетарди улыбнулся.

— Да, она шутит со мною и любезничает, — продолжала Елизавета, — но, между тем, это не мешает ей оскорблять меня. — А господин Линар так ко мне относится, что я скоро, кажется, потеряю всякое терпение.

Представьте, на дня был здесь обед по случаю дня рождения императора, принц Антон и этот вот неудавшийся его братец были посажены за стол обер-гофмаршалом, а меня посадил простой гофмаршал!

— Из этого я заключаю только одно, ваше высочество, — проговорил Шетарди — что вам нужно торопить день торжества вашего.

— Теперь вы, кажется, на меня не можете пожаловаться, — перебила его Елизавета, — теперь я не теряю времени. Посмотрим, что скажут первые военные действия, а здешнее мое дело идет хорошо: моя партия с каждым днем увеличивается и — знаете, кого я уже могу считать в числе своих горячих приверженцев? Всех князей Трубецких и принца гессен-гамбургского, а это чего-нибудь да стоит! К тому же и в Ливонии, как мне передали верные люди, все недовольны, и Бог даст наше предприятие окончится счастливо.

— Желаю этого от всей души моей, — прошептал Шетарди, — и очень рад, что могу сегодня сообщить хорошие вести во Францию.

Елизавета отошла от маркиза и по ее прекрасному лицу скользнула улыбка.

"А ведь, и ты смешон! — подумала она. — Что тебе ни скажи, хотя вздор какой угодно, все сейчас же и отпишешь, да и со всевозможными прибавлениями! А еще нас, женщин, считают сплетницами. Никогда мы не сумеем так насплетничать, как умеют эти господа дипломаты!.."

IX

Бал завершен роскошным ужином. Звуки музыки стихли; приглашенные разъехались.

Сначала потухли огни в большой зале, а затем, мало-помалу, и все остальные комнаты стали погружаться в темноту. Всюду тихо, только порою слышатся шаги дежурных офицеров и караульных.

Юлиана, проводив Анну Леопольдовну в спальню и нежно простясь с нею, прошла в свои комнаты.

— Мне ничего не нужно, оставьте меня! — сказала она дождавшимся ее дежурным камеристкам, и когда они вышли, молча поклонившись ей, заперла двери на ключ и несколько минут стояла посреди комнаты.

Комната эта была обширная, богато убранная, ничем почти не уступавшая будуару пра-

вительницы.

Между двумя окнами, на которых висели, спущенные теперь тяжелые бархатные занавеси, помещалось большое венецианское зеркало, в котором Юлиана видела себя во весь рост. Немного наискосок этого зеркала стоял туалетный стол и на нем были зажжены восковые свечи в канделябрах.

Юлиана подошла к туалету, присела на парчевую табуретку, расстегнула лиф платья и задумалась.

Вся ее фигура была ярко освещена свечами.

Немного уставшее, красивое лицо отражалось в туалетном зеркале. Она повернула голову налево и снова встретилась со своим отражением.

Прошло еще несколько мгновений; она встала, привычным, ловким движением сняла с себя платье и осталась у самого зеркала, невольно любуясь собою. Действительно, она хороша: высокая, стройная; что за чудные плечи! Что за руки! На шее несколько ниток жемчугов, перепутанных с алмазами; в волосах алмазы; огромные серьги изумрудные.

Она стала одно за другим снимать эти украшения и класть их в шкатулку, стоявшую на туалете. Шкатулка дорогая, вывезенная из чужих краев и поднесенная ей недавно Линаром. Вся она полна драгоценностей, их щедро надарила своему другу Анна Леопольдовна. Есть тут и другие подарки, подарки людей, которым Юлиана сослужила какую-нибудь большую службу, за которых заступилась перед правительницей, которым устроила выгодные дела, блестящие назначения.

Знает Юлиана, что есть у нее и другая шкатулка, где лежат не камни самоцветные, а то, на что можно закупить много этих камней. Чуть не с каждым днем все прибывает и прибывает казна Юлианы. Это тоже знаки дружбы правительницы и приношения людей благодарных. Вот и сегодня: по ее милости выданы две звезды орденские, обещаны искателям три видные, доходные места по службе, и за все это Юлиана опять, конечно, получит благодарность. Накануне она ездила с правительницей осматривать дом, пожалованный ей для будущей ее семейной жизни. Работы в этом доме уже приближаются к кон-

цу. Мебель и все вещи поражают необыкновенным великолепием: Анна Леопольдовна ничего не жалеет для своего друга. Серебра так много, что вряд ли и наполовину есть столько у самых ближайших русских сановников. Все эти деньги, все богатства прежде принадлежали Бирону, после ареста его были конфискованы правительницей и теперь находятся в руках ее. Никак не меньше половины она назначала ей, Юлиане, и Линару; из другой половины большая часть уже тайно выслана Анной Леопольдовной отцу ее, герцогу Мекленбургскому. Почти на двести тысяч одних бриллиантов у Юлианы, да и у Линара столько же. Два подарка, которыми разменялись жених с невестой, стоят пятьдесят тысяч...

Не одно богатство принесла Юлиане ее верная дружба к правительнице: ведь, все, все знают, какою силою она пользуется, знают, что та сила с каждым днем будет увеличиваться. Нет Юлиана! Блеск, богатство, почет, молодость, красота — ведь, нет такого желания, такого каприза, которого бы не могло исполнить счастье! Отчего же вот она сто-

ит перед зеркалом, стоит, не шевелится и уже не любит себя? Ее густые ресницы опущены, со щек сбежала краска... в руке жемчужное ожерелье, но она забыла о нем. Бесильно разгибаются ее пальцы, ожерелье падает на ковер, и она не замечает этого.

О чем она думает? И отчего так сжаты ее красивые, пунцовые губы? Отчего сдвинуты дугою выведенные брови и на всем лице печать какой-то грусти, чего-то тяжелого? У нее есть все, все, о чем когда-то снилось и грезилось честолюбивой девушке, все, что должно было принести с собою вечную радость, веселье, счастье, все мечты исполнились, а счастья нет и, напротив, с каждым днем оно уходит дальше и дальше.

Бывало, и еще не так давно, она веселилась, ни о чем не грустила, ни о чем не задумывалась. Она радовалась каждой малейшей удаче, наслаждалась и хвалилась сама перед собою своей ролью. Ей приятно было видеть, что каждый ее совет, данный Анне Леопольдовне, исполняется. Ей приятно было убеждать, что она безо всяких усилий со своей стороны и без всяких жертв может устраи-

вать дела, чуть ли не судьбу, многих высокопоставленных лиц. Все это ее занимало и тешило, но теперь, с некоторого времени, не стало уже этой забавы. Вот прежде она любила наряды и красоту свою, следила за тем, как эта красота с каждым днем развивается, делается все пышнее и пышнее. Но теперь она только по привычке смотрится в зеркало. Право, иной раз готова даже позабыть о своей прическе, о туалете, готова повязаться простым, белым платочком, как и Анна Леопольдовна, и весь день ходит в широкой блузе.

Что это за лето такое выдалось несчастное!..

Уж не отравы ли заключалась в той привозной минеральной воде, которую пила она каждое утро во время прогулок Анны Леопольдовны и Линара по аллеям запертого ото всех Летнего сада.

Да, отравы была в этой воде и прогулках. Сначала стала одолевать ее скука, так, какая-то беспричинная скука, а потом и тоска захватила. Чего же ей нужно?

Она не раз сама себе задавала вопрос этот, перебирала все и ничего не находила. Все

есть, ничего не нужно, а, между тем, такое решение не уничтожало тоски и скуки, а, напротив, усиливало их. Может быть, ее смущает то, что весь этот почет, который окружает ее, все эти льстивые фразы, которые она выслушивает, — не искренни, что у нее мало надежных друзей, действительно ее любящих, что придет черный день и все те, кто теперь преклоняется перед нею, отвернутся и забросят ее грязью. Но нет, она об этом не думает. Она еще не предвидит себе черного дня, и до людской искренности, до людской любви ей нет никакого дела; сама она очень немногих любит. Несмотря на свою молодость, она знает цену людям, не ждет и не просит от них многого.

Что же, надоела ей дружба правительницы, ищет она большей свободы, тяжело ей все свое время отдавать Анне Леопольдовне, быть ее тенью? Нет, по-прежнему любит она своего друга и, конечно, не может ни в чем упрекнуть Анну Леопольдовну. Что же это такое? Страсть, что ли, заглянула в ее сердце? Но, кажется, никто ей особенно не нравится, никогда в ее юных девических мечтах не бы-

ло до сих пор никакого мужского образа. Она выросла во дворцовых интригах и давно уже сказала себе, что всякая идеальная любовь — вздор и детское заблуждение. Да и кого же, наконец, полюбить ей? Некого, как есть некого!..

А, между тем, она все стоит перед венецианским зеркалом, все ниже и ниже опускается голова ее на высоко поднимающуюся грудь, и вот тихие слезы капают из-под опущенных ресниц.

— Боже мой, что за мученье! — почти громко произносит она в отчаянии.

Да, страсть закралась в ее сердце, нежданно, негаданно закралась. Напрасно смеялась она над любовью и считала ее вздором, природа взяла свое и разом разлетелись все соображения, рассудок замолчал. С каждым днем все глубже проникала в нее отравя.

Что же тут странного? Когда нее и любить, как не в ее годы, и ей ли бояться страсти? Она так молода, так хороша, так всемогуща, кто ее не полюбит? Кто не почтет себя счастливым услышать из уст ее признание? Она невеста, она скоро будет женою! Но что же такое: же-

них, ее будущий муж, не смеет требовать от нее любви, он обязан дозволить ей любить кого угодно.

Конечно, все это не так, как у добрых людей делается, но совесть не может упрекать ее, на такие дела нет у нее совести, слишком много было с детства дурных примеров, в слишком странных и развращенных понятиях она воспиталась. Или, может быть, несмотря на это воспитание, несмотря на все, вдруг истина озарила ее — и позорной, унижительной показалась ей ее роль, страшным и грязным то дело, на которое она решилась? Может быть, откуда-то, из далекой глубины детских воспоминаний встали другие понятия? Нет, ничего этого не случилось, с Юлианой, не пришла к ней великая минута, когда сразу проясняются мысли, очищается сердце; не от угрызений совести, не от ужаса перед тем путем, по которому идет, она так терзается. Ее страстное чувство приносит ей такое мученье. Она тоскует, она страдает потому, что судьба сыграла с ней злую шутку, потому, что любит она своего жениха, своего будущего законного мужа — графа Линара!..

Когда, каким образом пришло это незваное, ужасное чувство? Как могла она допустить его и поддаться ему, она ничего не знает.

Быть может, оно закралось в нее незаметно: ведь, она давно уже, задолго до приезда Линара, обязана была часто о нем думать, по целым часам говорила о нем с Анной Леопольдовной, по целым часам выслушивала всевозможные похвалы ему, присутствовала при всех сокровеннейших мечтаниях о нем влюбленной принцессы. Быть может, невольно после этих разговоров возвращались к нему ее мысли.

И вот он, наконец, явился. Он не был похож на тех молодых людей, которые ее окружали и которые казались ей, гордой, самолюбивой и холодной девушке, такими ничтожными. Да он и не был молодым человеком. Он носил отпечаток долгих лет какой-то таинственной, заманчивой, исполненной всевозможных приключений жизни; его рассказы были полны совершенно нового интереса; он видел многое такое, чего не знала Юлиана. Незаметно для себя самой она с каждым ра-

зом слушала его внимательнее, ей все веселее и веселее становилось в его присутствии, наконец, видеть его стало ее потребностью.

При встрече с ним ее глаза разгорались, но она не придавала этому никакого значения, не обращала на все это ни малейшего внимания, ни разу не задумалась над своими новыми ощущениями. Она все еще как-то не отделяла себя от Анны Леопольдовны, как-то сливалась с нею и даже, может быть, первые признаки своего чувства принимала за отражение на себе радости и счастья своего друга.

И долго ничего бы она не заметила, если бы не суждено ей было стать к Линару в новые и совершенно особенные отношения. Придумав вместе с Анной Леопольдовной знаменитую «комбинацию», сама еще ничем не смущалась, не могла подозревать, какую пропасть сама себе вырывает этой комбинацией. Но вот Линар — ее жених, они вместе решили, что нужно играть комедию, что нужно отводить глаза посторонним. И хоть, конечно, никому не могли отвести глаз, но комедия стала разыгрываться.

В обществе Линар считал своей обязанно-

стью держаться возле Юлианы, заглядывать нежно ей в глаза, иметь вид влюбленного. И он, привыкший к игре, очень ловко исполнял свою роль: его глаза останавливались на ней действительно с выражением нежности. Как увлекающийся актер, он иногда даже шел дальше: он и без посторонних нередко крепко прижимал ее руку. Быть может, эта близость красивой, молодой девушки и на него действовала отчасти, быть может, и очень даже вероятно, что он не без удовольствия пожимал ее руку и, несмотря на свои нежные отношения к принцессе, вовсе был не прочь, раз уже примирившись с мыслью о неизбежной женитьбе, иметь женою Юлиану. Но, во всяком случае, он не думал, что нежные взгляды могут для нее что-нибудь значить. Тут все с первой минуты выходило как-то дико, невозможно, так дико и невозможно, что только эти люди, с детства душевно и умственно изглавлявшиеся, могли выносить подобное положение.

Когда Юлиана в первый раз сознала свое чувство и назвала его по имени, она пришла в неописанный ужас. Она повторяла себе:

«нет, это неправда, этого не может быть, этого не будет!» Она напрягала все свои силы, чтобы не думать о Линаре, забыть его присутствие и никак не могла этого. Она пробовала его ненавидеть, даже достигла ненависти, но ненависть не уничтожала любви, сливалась с нею и доводила ее до отчаяния, до тоски, до изнеможения. И эти мучительные ощущения возрастали с каждым днем, и она сама себя, наконец, не узнавала. Она думала, думала, как бы ей выйти из этого ужасного положения, то решалась все рассказать Анне Леопольдовне, отказать Линару, куда-нибудь скрыться, хоть на время, но сейчас же и понимала невозможность подобного решения.

Как отказаться от всего, что ее окружает, от всего этого блеска, этой силы? Нет, ни за что, ни за что!

В ней поднималась вдруг ненависть ко всем и ко всему, даже к Анне Леопольдовне. Она проклинала и Линара, и ее, но сейчас же и останавливала себя на было условлено между ним и правительницей. Его отъезд назначен через два дня.

«Пускай он уезжает скорее! — отчаянно по-

вторяла себе Юлиана, очнувшись и раздеваясь. — Пускай он уезжает подальше, не то я с ума сойду».

Она потушила канделябры, прошла в спальню, почти всю ночь не могла сомкнуть глаз и все плакала, все металась на постели. Однако, на другое утро она вышла к Анне Леопольдовне, по обыкновению спокойная и приветливая, и, конечно, никто бы не поверил, если бы рассказать, какую страшную ночь провела она.

Х

Анна Леопольдовна день за день откладывала отъезд Линара. Постоянно передавала она и пересылала ему всевозможные и роскошные подарки. Все это он принимал как должное, но, наконец, и сам увидел, что пора ехать и именно для того, чтобы скорее окончить все необходимые дела и вернуться обратно в Петербург для новой и счастливой жизни. Теперь ему нечего опасаться за свою участь: во время его отсутствия ничего не может произойти для него дурного, он окончательно укрепился, он никого не боится.

Вернувшись обратно в Петербург и от-

праздновав свою свадьбу с Юлианой, он начнет деятельную жизнь, он заберет все и всех в руки и будет по-своему управлять обширным и неведомым ему государством. Пример Бирона хоть и не раз приходил ему в голову, но не пугал его. «Тот поступал глупо, необдуманно, не умел верно рассчитать, потому и пропал, — думал Линар, — я буду действовать совсем иначе». Его окончательно заколдовало это обаяние власти, которую он почувствовал в руках своих. Что он был там, у себя в Дрездене, где на него не обращали почти никакого внимания! Что это была за жизнь, вся состоявшая из мелких и ничтожных интриг, преследовавших мелкие и ничтожные цели? Вот теперь началась жизнь, так жизнь!

«Нет, нечего бояться судьбы Бирона! — успокаивал себя Линар. — Тот во всех возбуждал ненависть, а меня здесь так все хорошо принимают, так любят!»

И он не мог догадаться в своем удивительном ослеплении, что Бирону показывали постоянно даже гораздо больше любви и уважения, чем ему. Он, опытный дипломат, давно уже забывший, что такое значит искрен-

ность, серьезно выслушивал льстивые фразы и не понимал их настоящую цену. Он не видел, как сильна в окружающих, даже теперь, к нему ненависть, он видел только, что играет первостепенную роль, что даже сам Остерман, великий Остерман, и тот призывает его на свои тайные совещания и почтительно выслушивает каждое его слово. А он в последнее время говорил много, вмешивался решительно во все дела, с необыкновенным апломбом рассуждал о таких предметах, которые в действительности были ему вовсе неизвестны.

Но как ни хороша жизнь здесь, все же надо на время отказаться от нее, для того, чтобы потом полнее ею воспользоваться. Нужно ехать. Он объявил Анне Леопольдовне, что выезжает завтра и что это наверное, так как медлить больше нечего: лучше же уехать скорей, чтобы скорее вернуться.

«Линар уезжает!» С этой мыслью проснулась Анна Леопольдовна. Она почти всю ночь не спала: все думала о нем и плакала. Заснула только под утро, но и во сне являлся он же. Ей представлялось, будто он навсегда от нее уез-

жает, будто она провожает его в могилу, будто он убит...

Вся облитая холодным потом, с невольно вырвавшимся из груди ее криком, проснулась она, в ужасе оглянулась, будто боясь и наяву увидеть его безжизненное тело. Но вот, наконец, пришла в себя и сообразила, что все это был только сон, страшный сон, и что нечего пугаться.

«Но он уезжает! Уезжает сегодня!» — Она поспешно стала одеваться, сердце ее мучительно стучало, на глаза то и дело навертывались слезы, которых она даже не имела силы скрыть от прислуживавшей ей фрейлины.

Раньше обыкновенного вышла принцесса из своей спальни и стала поджидать друга.

Каждая минута казалась ей часом; наконец, Линар приехал проститься с нею.

Но, ведь, того и жди не дадут им хорошенько проститься, побыть наедине в последние минуты. Вот так и есть: являются ненужные люди, но которым отказать невозможно, является и сам принц Антон.

Он любезно здоровается с Линаром. Вообще, в последнее время он держит себя очень

осторожно, изо всех сил старается не сталкиваться с женою в каком-нибудь неприятном разговоре. Он так изменился, он так спокоен и важен, что Анне Леопольдовне не раз приходила мысль, уж не затеял ли он чего-нибудь против нее.

«Да где ж ему! И что он может?» — успокаивала она себя и отгоняла подобные мысли.

— Итак, вы едете, граф? — сказал принц Антон, пожимая руку Линару. — Дай Бог, чтобы мы встретились снова при хороших обстоятельствах, чтобы эта война обратилась в нашу пользу и, главное, чтобы мы все вполне успокоились относительно известной особы.

Под известною особою подразумевалась цесаревна Елизавета.

— От известной особы было бы легко отделаться, если бы захотели слушаться моих советов, — ответил Линар, — я еще вчера у графа Остермана доказывал необходимость решительного и немедленного поступка с нею. Что она принимает участие в шведских делах, в этом не может быть никакого сомнения; следовательно, нужно подвергнуть допросу ее и всех к ней приближенных. Я совер-

шенно уверен, что подобный допрос, если и не раскроет прямо всего, то, во всяком случае, наведет на след весьма важных открытий. Я не говорю, что с нею нужно поступить очень жестоко, нет, зачем же! Основываясь на том, что она примет участие в происках врагов России, ее необходимо заставить формально отречься от престола. Народ ничего не может сказать против этого: особа, подстрекающая чуждое государство на войну с Россией, не может рассчитывать на симпатии своих соотечественников и ни при каких обстоятельствах не имеет права царствовать над ними.

— Конечно, конечно, вы правы! — быстро перебил принц Антон. — И если бы только от меня зависело, я непременно последовал бы вашему совету. Но, дело в том, что другие не понимают и сами навязываются на страшные опасности.

Он взглянул на жену: что она скажет? Анна Леопольдовна сидела бледная, с покрасневшими и опухшими от слез глазами.

— Нет, ничего этого нельзя сделать, — тихо и печальным голосом проговорила она, — если бы мы и избавились от нее, то все же это

ни к чему не привело бы, опасность не уменьшилась бы: разве там, в Голштинии, не живет чертенок? — припомнила она выражение покойной императрицы. — Он всегда будет мешать нашему спокойствию.

И проговорив это, Анна Леопольдовна сейчас же забыла и о чертенке, и о цесаревне, и о всей России. Какое ей дело до всех этих опасений; в такую ужасную минуту: «он уезжает, чего же это они все здесь? Чего не уходят? Ведь, не могу же я так с ним проститься?»

Но заставить всех выйти не было никакой возможности. Анна Леопольдовна взглянула на Юлиану; та сидела неподвижно, тоже вся бледная, с каким-то странным выражением в лице.

Воспользовавшись оживленным разговором, завязавшимся между присутствовавшими, Анна Леопольдовна подошла к ней и шепнула:

— Выйди и вызови его к себе: у тебя мы простимся...

Юлиана поднялась машинально и, остановившись посреди комнаты, обратилась к Линару:

— У меня очень голова болит, — сказала она глухим голосом, — когда вы будете свободны, придите проститься.

Линар взглянул на нее, поразился ее бледностью, странным выражением лица ее.

— Иду следом за вами, дорогая Юлиана, — проговорил он.

Она, почти шатаясь, вышла из комнаты.

— Вот как вас любит ваша невеста, — неестественно смеясь, сказал принц Антон, — ее просто не узнать сегодня, так она огорчена разлукой с вами.

Линар ничего не ответил на это, а Анна Леопольдовна вспыхнула и закусил губы. Она подошла к Линару и сказала:

— у меня есть дело и я должна теперь с вами проститься. Желаю вам счастливого пути, возвращайтесь скорее.

Линар почтительно поцеловал протянутую ему руку и правительница вышла.

Перед посторонними она еще сдерживалась, но когда появилась в будуаре Юлианы, обойдя коридорами, соединявшими ее покои с покоями фрейлины Менгден, уже не была в силах владеть собою. Слезы градом полились

из глаз ее, она упала в кресло и рыдала до тех пор, пока в комнату не вошел Линар.

При его входе Юлиана вышла и заперла за собою дверь.

Он остановился перед Анной Леопольдовной. Ему было неловко: эти слезы и рыдания казались ему излишними. Сам он не особенно скорбел от предстоявшей разлуки — его чувство к Анне Леопольдовне подогревалось искусственно. Когда-то, в первое время своего пребывания в России, он, действительно, искренно увлекся пятнадцатилетней девочкой, глядевшей на него влюбленными глазами, но теперь эта чересчур сентиментальная привязанность ему начинала надоедать порядком.

— Успокойтесь, ради Бога, — заговорил он, наконец, целуя руку Анны Леопольдовны, — право, можно подумать, что мы расстаемся навсегда. Ведь, я вернусь скоро, и не заметите, как пройдет это время.

— Да мне все такие страшные сны снятся, — сквозь рыдания прошептала принцесса, — у меня уж не первый день все какое-то предчувствие, оно меня мучает, не дает мне покоя: мне все кажется, что вы не вернетесь,

что мы никогда не увидимся. Боже мой! Мало ли что может быть! Кто поручится, что дороги безопасны? Путешествие такое длинное... Достаточно ли людей с вами?

— Относительно этого не беспокойтесь — я вполне убежден, что доеду благополучно.

Он сел рядом с нею, он всеми мерами старался ее успокоить, но это ему не удавалось. Она все рыдала, все повторяла о своих предчувствиях, так что, наконец, ему сделалось невыносимым это свидание.

— Пора! Пора нам расстаться, — сказал он, — я и так опоздал, меня давно ждут... надо уезжать.

— Как? Уже уезжать!.. — почти безумным голосом проговорила она.

— Что же делать! — он опустил глаза и протянул ей руки.

Вся обливаясь слезами, рыдая и произнося несвязные фразы, простилась она с ним и, чувствуя, что так не будет в силах отпустить его, выбежала из комнаты.

Он остался один и ждал Юлиану.

Вот она вошла в будуар и тихо к нему приблизилась.

Он взглянул на нее.

Какое странное лицо! Она никогда еще не была такая. Она глядит на него не отрываясь и ему жутко становится от этого взгляда.

— Прощайте, Юлиана, — сказал он, протягивая ей руку.

Она дала ему свою.

Ее рука была холодна и дрожала.

Вдруг она отшатнулась от него, блеснула перед ним глазами. Что-то мгновенно, как будто какая-то электрическая искра пробежала по ней.

Прошло несколько мгновений, они не говорили ни слова... Она ступила шаг вперед, положила ему на плечи руки и задыхающимся голосом, едва шевеля пересохшими губами, прошептала:

— Линар, увезите меня с собою... едем вместе! Никогда не вернемся сюда... забудем все... Там, где-нибудь, мы будем счастливы!

Ему показалось, что она сошла с ума. А она все не выпускала его и продолжала впиваться в него горящими глазами и шептала:

— Линар... одно слово... говорите!

— Успокойтесь, Юлиана; я не понимаю,

что с вами!.. Что вы говорите?! Или вы смее-
тесь надо мною! Но зачем провожать меня та-
кой шуткой?

— Шуткой! — отчаянно вскрикнула она и,
пошатнувшись, без чувств упала на пол.

Ее крик слышали в соседних комнатах.
Сбежались служанки и кое-как привели ее в
чувство.

Линар, смущенный, начинавший пони-
мать в чем дело, но все еще не совсем веря-
щий этой неожиданной для него догадке, сто-
ял, не шевелясь, пока не увидел, что она при-
шла в себя. Тогда он тихонько вышел из ком-
наты и поспешил к себе домой, где уже давно
ждался приготовленный для его путеше-
ствия поезд.

XI

Принц Антон и Остерман очень радова-
лись отъезду Линара, думали, что теперь им
станет свободнее и легче, что они успешнее
начнут достигать исполнения своих планов.

Они побаивались Линара, как человека да-
леко не глупого, энергичного и проницатель-
ного — с его отъездом они избавлялись от
зорких глаз, следивших за их действиями.

Теперь, думали они, от внимания правительницы будет ускользать многое, что не могло ускользнуть от Линара. Принц Антон решил, что необходимо, пользуясь обстоятельствами, поторопить с днем торжества своего и устроить так, чтобы Линар никогда и не возвратился.

Но и принц Антон, и Остерман ошибались. Их дело не подвигалось ни на шаг, как ни старался, как ни хитрил и ни изловчался старый оракул. У них не составлялось партии, они оставались одинокими.

Только люди, жившие в последнее время вдали от Петербурга, продолжали считать Андрея Ивановича всемогущим и называть его царем всероссийским; те же, кто был поближе, кто принимал участие в дворцовой жизни, видели, что старый Остерман не только что не устроил себе твердого положения, но, напротив, с каждым днем все слабее и слабее держится. Конечно, он по-прежнему решает самые важные государственные дела, по-прежнему ему поручаются самые серьезные работы, но и только. Настоящей силы у него нет, потому что эта сила может произойти

только из близких отношений к правительнице, а правительница не только не дружна с ним, но с каждым днем все более и более от него отстраняется. Она знает, ей давно это уже внушено и Линаром, и другими, что Остерман составляет теперь нечто нераздельное с ее мужем, и, конечно, она вследствие этого не может доверять ему.

Все что есть русского, все это ненавидит Остерман; немецкая партия тоже от него отшатнулась и примыкает к правительнице и ее приближенным. И что всего страннее, что всего непонятнее, это то, что Остерман не совсем понимает свое положение, что он все еще надеется на возможность благополучного и скорого устройства дела принца Антона.

Между тем, против Андрея Ивановича ведутся всякого рода интриги, мелкие заговоры даже со стороны таких людей, которых подозревать ему и в голову не приходит.

Андрей Иванович сидит в своем рабочем кабинете, пишет бумагу за бумагой. Потом принимает принца Антона, толкует с ним, строит планы, ободряет его. А в это время у архиерея Амвросия Юшкевича, занявшего в

Синоде место покойного знаменитого Ософа-на Прокоповича, ведется оживленный разговор об Андрее Ивановиче.

Собеседник архиерея — действительный статский советник Темирязов.

Темирязов этот — человек не Бог знает какой и не Бог знает как способный; напротив того, совсем это робкий человек, думающий только о том, как бы самому удержаться, как бы не попасть в какую-нибудь неприятную историю, не нажить себе бед и хлопот в теперешнее тяжелое время, когда не знаешь, с кем дружить, от кого отдаляться.

Темирязов часто посещал архиерея, с которым знаком уже долгие годы. Сидят они теперь за скромным, но вкусным ужином и толкуют о делах политических, о начавшейся войне со шведами.

— А кто во всем виноват? — говорит архиерей. — Все он же — Остерман. Многие неправды творит в государстве купно с супругом правительницы... и война эта его же рук дело. Я на него многократно государыне говаривал, только ничего из этого не выходит. Невредим он остается, ничто не льнет к

нему...

— Да и манифест о правлении Анны Леопольдовны, ведь, тоже, он сочинил, — замечает Темирязов.

— Как же, он, он, конечно! Он же и регенту помогал. Все, что ни творится, все от него исходит, а сам сух из воды выбирается...

Темирязов сделал глубокомысленную физиономию.

— Смотрите, преосвященный, вот вы говорите про регента, а, ведь, он регента сверстал с правительницей.

— Как так? Что ты? — оживился архiereй. — Это интересно! Постой, пойду принесу манифест...

И преосвященный, с живостью, не свойственной его летам и положению, чуть не выбежал из комнаты и через несколько минут вернулся с манифестом.

— Покажи, ради Бога, в которой речи он сие сверстание учинил?

Темирязов раскрыл манифест, нашел место, прочел, и точно: вышло, что по смыслу манифеста, Анна Леопольдовна должна править на том же основании, как и Бирон.

— Возьми вот перо, — сказал архиерей, — да поставь черту против этих слов, чтобы я не забыл, а то я что-то стал беспамятлив.

Темирязов провел черту.

— Ну, вот так, хорошо! — заметил архиерей. — Завтра же пойду с этим манифестом к государыне правительнице и покажу ей, что все это подлинно Остермана дело.

Потолковав еще немного, Темирязов простился с Юшкевичем, а дня через два снова к нему заехал узнать, как идет это дело.

— Да что дело... идет дело, только не больно шибко, — ответил преосвященный. — Доносил я государыне обо всем: изволила сказать, что очень этим всем обижена, да не только тем, что с регентом ее сверстали, а и тем, что дочерей ее обошли. Только я ждал, что она будет говорить об Остермане, а она молчит, говорю тебе: не льнет к нему ничто, да и полно! Такую силу дали. Вот есть книга у нас, «Камень веры», чай, знаешь?

Темирязов кивнул головою.

— Ну, так вот эту книгу он взял да и запечатал, и сколько раз просил я государыню, чтобы распечатать приказала ту книгу, а до

сих пор ничего не мог добиться. Мешает он мне, или сам, или через принца, да и как не мешать, посуди ты! Он нам всякие каверзы готов делать, потому мы ему противны: не нашего он закона. На все российское духовенство он, аки лев лютый, рыкает, безбожник! Только нет, так все это оставить невозможно. Скажи ты мне, знает ли тебя фрейлина Менгденова? Она в очень великой у государыни милости, через нее все можно оборудовать...

— Нет, не знает она меня, — ответил Темирязов.

— Ну, это все равно, а ты все же поди к ней, худого от этого не будет, — продолжал Амвросий, — поди к ней, не мешкая, и расскажи про манифест, про то, как сравнена великая княгиня с регентом и ту речь покажи, что у меня отметил. И подкрепи ей, что все это дело Остермана; может, она будет великой княгиней на него представлять и та нас не послушает, а ее слушает.

Темирязов задумался: не в его характере было в такие дела впутываться. Но он находился под влиянием Амвросия, и тот, наконец, так сумел уговорить его, что он решился

повидаться с Юлианой и толковал только об одном, что нужно это сделать тайно, чтобы никто не мог проведать об этом свидании.

Все это можно, — сказал архиерей, — я пошлю с тобой моего келейника, он тебе покажет крыльцо, откуда ты прямо можешь пройти к самой спальне фрейлины.

Так и сделали. Темирязов отправился со служанкой, и Юлиана, уже давно привыкшая ко всевозможным интригам, таинственности и неожиданным посещениям, немедленно приняла его.

Он был очень смущен неловкостью своего положения, начал заикаясь и со всевозможными отступлениями, объяснять фрейлине, в чем дело.

Но она почти с первых же слов его перебила:

— У нас все это есть, мы все знаем, — сказала она, а затем и отправилась к правительнице.

Темирязов в смущении дожидался. Она вернулась через несколько минут и сказала ему, чтобы он сходил к Головкину и спросил его от имени Анны Леопольдовны: написал

ли он то, что ему было приказано, и если написал, то привез бы. Сам же Темирязов должен был показать Головкину манифест и, выслушав, что на это скажет, вернуться обратно.

Робкий действительный статский советник, неожиданно попавший в деятели и заговорщики, и рад был бы от всего отказаться, вернуться преспокойно домой, но уже сделать это было невозможно, и он отправился к Головкину.

Тот взял манифест, прочел и сказал:

— Мы про это давно ведаем. Я государыне об этом доносил обстоятельно, а написано или нет то, что мне приказано — так скажи ты фрейлине, что я сам завтра буду во дворце.

С этим ответом Темирязов направился к Юлиане. Теми же таинственными путями вошел он в ее будуар и оторопел, перед ним очутилась не Юлиана, а сам правительница.

— Что с тобой говорил Михайло Гаврилович? — сразу спросила Анна Леопольдовна, почти не ответив на его поклон.

Темирязов передал ей слова Головкина.

— Мне не так досадно, — снова заговорила принцесса, — что меня сверстали с регентом,

досадно то, что дочерей моих в наследстве обошли. Поди ты напиши таким манером, как пишутся манифесты, два: один в такой силе, что будет волею Божью государя не станет и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству. В другом манифесте напиши, что если таким же образом государя не станет, то чтобы наследницей быть мне.

Темирязов стоял ни жив, ни мертв, весь даже похолодел от ужаса.

Вот к чему привели его эти дружеские беседы с архиереем. Потолковать за ужином о злостных действиях Остермана он мог, и даже с удовольствием, пожелать этому Остерману всего дурного, тоже было делом нетрудным, но вдруг самому писать манифесты, да еще и не один, а два — это уже совсем другое.

— Да как же я, ваше высочество, писать буду?! — прошептал он, не смея взглянуть на Анну Леопольдовну.

— Как писать будешь?! — воскликнула она. — А так, как всегда это пишется. Что же тут такого? Чего ты боишься? Ведь, ты присягал государю, присягал, что будешь мне по-

слушен?

— Присягал, — заикаясь, ответил Темирязов.

— Ну, так если присягал, то и помни присягу, поди и сделай, как я говорю тебе, а сделав, отдай фрейлине. Только никому, как есть никому не моги и заикнуться об этом, помни о голове своей! — закончила Анна Леопольдовна довольно грозно и вышла из комнаты.

— Темирязов стал было дожидаться Юлианы, чтобы как-нибудь выпутаться из этого затруднительного положения, упросить ее, чтобы с него снято было такое неожиданное и тяжкое поручение.

Но сколько он ни ждал, фрейлина не показывалась.

Наконец, он вышел из дворца и направился к себе, решительно не зная, как будет писать эти манифесты. Сам он манифестов ни за что писать не сумеет, следовательно, нужно обратиться к какому-нибудь способному на то человеку.

Он, не долго рассуждая, свернул в сторону, отправился к секретарю иностранной коллегии Познякову и, предварительно взяв с него

самые страшные клятвы в сохранении тайны, рассказал ему в чем дело и умолял выручить его, ради Бога.

— Что же тут делать! — отвечал Позняков. — Не робей, нынче много непорядков происходит. Да коли это приказано от правительницы, то сделать надобно.

— Сделай ты, напиши, пожалуйста! — упрашивал Темирязов.

— Хорошо, для друга готов, напишу, и вчерне завезу к тебе.

Позняков сдержал слово: в ту же ночь приехал с манифестами, а Темирязов немедленно отвез их Юлиане.

Этим покуда роль его и кончилась.

Правительница оставила манифесты у себя, на другой день призвала Остермана и спросила его, каким образом случилось, что в учреждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда бывают в России наследницами за неимением принцев?

И спросила это она таким тоном, по которому Остерман должен был сразу заключить, что она считает его главным виновником этого обидного для нее упущения.

— Это нужно исправить, — продолжала правительница, — да, непременно подумайте, как бы это исправить! Вон уже приходил ко мне Темирязов и объявил, что об этом и в народе толкуют.

Остерман сказал, что подумает, и на другой день прислал Анне Леопольдовне письмо такого содержания:

«Понеже то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветовать, а именно с князем Черкасским и архиереем новгородским».

Правительница ответила ему тоже письменно, что кроме этих лиц надо призвать к совещанию и графа Головкина, потому что это дело от него происходит.

Остерман послал за Головкиным. Они толковали и решили собраться снова вместе с Черкасским и Амвросием Юшкевичем.

Но неожиданно и быстро надвигавшиеся события помешали им исправить это «упущение в манифесте»...

Война со шведами продолжалась и началась для русских успешно: шведы разбиты были при Вильманштранде.

Во дворце ликовали. Приверженцы Елизаветы опустили головы и сама она впала в тяжкое раздумье.

— Что же это за союзники! — говорила она своим приближенным. — Что же это нам за помощь! Нолькен обманул, ровно ничего не сделал, что обещал — герцога Голштинского нет при шведской армии, нет манифеста, что шведы действуют в пользу потомства Петра Великого. А без этого манифеста, конечно, наши будут идти вперед и побеждать...

Елизавета послала Лестока к маркизу де-ла-Шетарди узнать от него все подробности о Вильманштрандской битве.

Шетарди отвечая, что тревожиться пока нечего и уж вовсе не следует приходить в отчаяние от первой неудачи. Шведов было мало и к тому же весьма трудно сделать сразу все, что было условлено с Нолькеном.

— Пусть лучше принцесса сама действует теперь энергично, — сказал Шетарди Лесток.

— Мы не спим, — ответил на это Лесток, — но одни, сами собою, ничего не в силах сделать без помощи Швеции. Нужно, чтобы толчок был дан русскому народу. Устройте так,

чтобы был издан манифест. Попросите короля убедить Швецию, чтобы в ее войске явился герцог Голштинский. Прощаясь с офицерами и солдатами, отправляющимися в Финляндию, принцесса уверяла их, что герцог будет в войске и упрашивала, чтобы не убивали, по крайней мере, ее племянника. Если б вы знали, как это было принято офицерами и солдатами! И вдруг теперь они узнают, что герцога Петра нет, что перед ними только неприятель!

Шетарди обещал, не откладывая, исполнить все по желанию Елизаветы, и в то же время замышлял относительно нее и еще одно дело.

Ему поручили из Версаля предложить ей в женихи принца Конти.

Шетарди приехал толковать с цесаревной об этом браке.

— Вы должны быть уверены, — отвечала ему Елизавета, — что я не выйду замуж и не могу слушать подобного предложения уже даже потому, что с моей стороны было бы очень неблагоприятно обижать правительницу и ее мужа, я только что отвергла довольно глупое

предложение, сделанное мне братом принца Антона. Я удивляюсь, право, как, наконец, не надоест всем до сих пор предлагать мне женихов. Вот и женой персидского шаха хотят меня сделать, но я смотрю на все эти предложения, как на неведущие ни к чему и обидные для меня шутки.

После таких слов, конечно, Шетарди не мог ничего прибавить и поспешил вернуться к себе, чтобы сообщить в неудачах этого дела двору своему.

Вообще, положение маркиза день ото дня становилось все затруднительнее: все на него косились, избегали разговоров с ним, многие едва кланялись. Появляясь во дворце, он испытывал большую неловкость, видя, что все, начиная с правительницы, тяготеют его присутствием и если до сих пор еще не позволяют себе с ним дерзостей, то единственно только вследствие его общественного положения.

Действительно, Остерман, в одно из последних свиданий своих с правительницей, объявил ей о необходимости удаления Шетарди, и Анна Леопольдовна несколько не возражала против этого.

Остерман тотчас же написал русскому послу во Франции, Кантемиру.

«Поступки Шетарди — писал он, — так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда. Только это нужно исходатайствовать таким образом, чтобы французское министерство, при нынешнем своем счастье и без того ни на кого не смотрящее, не получило повода к преждевременному разорению с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому, надобно поступить в этом деле, смотря по тамошней склонности, министерскому нраву и обращению дел, и притом на ваше благорассуждение оставляю, не можете ли через то благосклонное к вам лицо, о котором в реляциях своих упоминаете, тамошнему министерству между прочим искусно внушить, что поступки Шетарди и интриги совершенно открылись, и потому он для французских интересов здесь более уже не может быть полезен. И что вследствие его поведения никто не желает с ним знакомства, все избегают его, как только можно, без явного озлобления».

Результат этого письма так же опоздал, как и манифест о правах на российский престол еще не родившихся сыновей и дочерей Анны Леопольдовны.

XII

Цесаревна Елизавета ожидала новых известий с театра войны и в то же время поручала Лестоку и своему старому учителю музыки, Шварцу, раздавать деньги гвардейским солдатам.

Она чувствовала, что теперь приблизилось роковое время и желала только одного, чтобы сигнал к перевороту подан был из войска, чтобы ей, с ее петербургскими приверженцами, не нужно было начинать первой.

Однако, несмотря на эту решимость и осторожность, которые противились всем убеждениям окружающих, цесаревна уже далеко не была такою робкою, как прежде. Она окончательно убедилась в слабости правительства и иной раз не сдерживалась, позволяла себе такого, рода поступки, от которых прежде бы непременно воздержалась.

Не в ее характере было ненавидеть даже врагов своих, но из числа их она все же выде-

ляла Остермана — самого старого, самого заклятого недруга — и к нему в ней постоянно было злобное чувство, с которым она не могла справиться. Все готова она была простить, кроме неблагодарности, а неблагодарность Остермана переходила всякие пределы. Он всем своим положением, всем своим счастьем был обязан ее отцу и матери, и неустанно преследовал ее, их любимую дочь.

Он и теперь наносил ей всевозможные оскорбления и почти каждый день то тем, то другим напоминал о себе и приводил ее в негодование.

Вот персидский посланник привез дары всем членам царского семейства и лично желал вручить их, но Остерман не допустил его до цесаревны.

Эти дары привезли ей гофмаршал Миних и генерал Апраксин.

Елизавета вышла к ним бледная, со сверкающими глазами, такая разгневанная и величественная, что они ее почти не узнали.

— Скажите графу Остерману, — произнесла она повелительным голосом, — он мечтает, что может всех обманывать, но я знаю

очень хорошо, что он старается унижить меня при всяком удобном случае, что по его совету приняты против меня меры, о которых великая княгиня и не подумала бы по доброте своей. Он забывает, кто я и кто он! Забывает, чем обязан моему отцу, который из писарей сделал его тем, чем он теперь! Но скажите ему, да, скажите ему, что я-то никогда не забуду о том, что получила от Бога и на что имею право по моему происхождению!

И цесаревна, едва кивнув головой Миниху и Апраксину, удалилась в свои внутренние комнаты.

Этот поступок ее, конечно, сейчас же был всем рассказан и произвел большое впечатление.

Иностранные резиденты немедленно передали о нем своим дворам, принц Антон помчался к Остерману...

Но ничего неприятного из всего этого не вышло для цесаревны. Несмотря на всю ненависть, которую к ней чувствовали некоторые, все, начиная с Остермана, очень хорошо понимали, что уничтожить ее, в особенности теперь, пока еще неизвестно, чем кончится

война со Швецией, более чем опасно. К тому же в последнее время все находились в каком-то странном лихорадочном состоянии: это было что-то вроде общего бреда. Никто ничего не видел ясно и стремился к своей цели такими путями, которые могли не приблизить, а только отдалить от этой цели.

Наконец, маркиз де-ла-Шетарди привез цесаревне манифест, изданный шведским главнокомандующим, графом Левенгауптом, и предназначенный для «достохвальной русской нации».

Цесаревна жадно принялась читать манифест. В нем говорилось о том, «что шведская армия вступила в пределы России единственно с целью получить удовлетворение за многие неправды, причиненные шведской короной иностранными министрами, господствовавшими над Россиею в прежние годы, для получения необходимой шведам безопасности на будущее время и для освобождения русского народа от невыносимого ига и жестокостей, которые позволяли себе те министры, через что многие потеряли собственность, жизнь, или сосланы в заточение. Ко-

роль шведский намеревается избавить русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнью и имуществом, а со шведами сохранить доброе соседство. Но этого достигнуть невозможно до тех пор, пока чужеземцы, для собственных целей и по своему произволу, будут властвовать над русскими и их соседями союзниками. Вследствие таких справедливых намерений его королевского величества, все русские должны и могут соединиться со шведами и как друзья отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величества и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления».

Елизавета благодарила Шетарди, ее приближенные по несколько раз перечитывали манифест. Все ликовали, надеялись, что теперь уже не далеко до полного торжества.

При дворе этот манифест произвел очень

тревожное впечатление.

Принц Антон перечитывал его с Остерманом и Левенвольде и наивно рассуждал о том, что «о чужестранных здесь весьма противно написано и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии».

— Что же теперь делать? — испуганно спросил он Остермана.

— А другого делать нечего, — отвечал оракул, — как взять лучшие военные предосторожности и приказать, что где такие манифесты появятся, в народ их отнюдь не разглашать, а собирать в кабинет.

— А вы, граф, — обратился он к Левенвольду, — немедленно доложите обо всем этом правительнице.

Левенвольде отправился к Анне Леопольдовне; но та уже знала про манифест и прямо начала с этого.

Левенвольде передал ей о том, что говорил Остерман.

Она кивнула головою.

— Хорошо, — сказала она, — пусть будет так сделано. Да, манифест этот очень остро

писан, — прибавила она и замолчала.

Через минуту она уже и думать позабыла об этом деле — не тем совсем заняты были ее мысли. Она страшно тосковала, посылала письмо за письмом в Дрезден, да и, кроме того, была встревожена болезненным состоянием друга своего, Юлианы.

Юлиана, с самого дня отъезда Линара, сказывалась больною, была необыкновенно раздражительна и иногда без всякого видимого повода вдруг заливалась слезами или истерически смеялась.

Анна Леопольдовна не могла догадаться о действительной причине этого странного, нервного состояния, почти не отходила от своего друга и насильно заставляла ее принимать лекарства, прописываемые доктором...

Прошло несколько дней. 23 ноября был куртаг во дворце; съехалось довольно много народу.

Между присутствовавшими находилась и цесаревна, и маркиз де-ла-Шетарди. Маркиз имел скучающий и даже озлобленный вид, он чувствовал, что положение его очень шатко и даже опасно.

«Того и жди, еще отравят, — думал он, — от этих варваров всего ожидать можно!..»

Он медленно переходил из комнаты в комнату, почти ни с кем не останавливаясь и не разговаривая, так как давно заметил, что все отделиваются от него под всевозможными предлогами. Ему оставалось только наблюдать, но пока для наблюдений не представлялось ничего интересного.

Он заметил только, что Анна Леопольдовна на этот раз в каком — то видимом возбуждении.

Вот она встала со своего места и несколько раз скоро прошла по комнате, потом вдруг подошла к цесаревне.

Маркиз расслышал:

«Сестрица, мне нужно поговорить с вами, прошу вас следовать за мною».

Елизавета, встревоженная и изумленная, последовала за правительницей.

Они прошли несколько комнат и остановились.

— Да, мне нужно серьезно переговорить с вами, — повторила Анна Леопольдовна. — Там (она указала на приемные комнаты) есть

один человек, которого и впускать бы не следовало — это француз маркиз. Нам теперь доподлинно известны все его неблагоприятные поступки и я едва удерживаю себя, чтобы не отнестись к нему так, как он этого заслуживает. Но дольше выносить его и тяжело для меня и опасно. Я уже отправила королю просьбу о том, чтобы его отозвали из Петербурга.

— Но зачем же вы мне все это говорите? — спросила Елизавета. — Вы знаете, что я так далеко стою от всех дел...

— Я говорю это вам, — перебила ее правительница, — для того, чтобы предупредить вас и просить не принимать больше этого человека.

— Как же я могу это сделать? — заметила Елизавета. — Мне это очень трудно. Конечно, можно раз-другой отказать ему под тем предлогом, что меня нет дома, но в третий раз уже не откажешь: это будет чересчур невежливо и ясно. Вот вчера, например, маркиз подъехал к моему дому в ту самую минуту, как я выходила из саней и входила к себе...

Яркая краска вспыхнула на щеках Анны Леопольдовны; она взглянула на свою себе-

седницу с видимым раздражением.

— Я не знаю, легко ли это или трудно вам сделать, но я снова повторяю мою просьбу: исполнить ее ваша обязанность.

Елизавета в свою очередь вспыхнула, но сдержалась.

— В таком случае, — тихо проговорила она, — это дело можно устроить гораздо проще: вы правительница — прикажите Остерману сказать Шетарди, чтобы он не ездил ко мне больше!

— Нет, так нельзя! — поспешно отвечала Анна Леопольдовна. — Нельзя раздражать такого человека, как Шетарди, и подавать ему явный повод к жалобам, пока он еще занимает свой пост и не отозван отсюда.

— Так вот видите! — с едва заметной усмешкой и пожав плечами, — сказала цесаревна. — Если Остерман — первый министр и имея ваше повеление, повеление правительницы, не смеет так поступить с Шетарди, то как же я-то могу решиться на это?

— Я ничего этого знать не хочу! — вдруг вскрикнула принцесса. — Вы должны не принимать его, и кончено об этом!

— Вы напрасно кричите на меня, ваше высочество, — тоже возвышая голос и уже едва сдерживаясь, сказала Елизавета, — конечно, пользуясь обстоятельствами, можно унижать меня, но есть же всему предел, и вам не следовало бы забывать, что я не ваша прислужница.

Она резко повернулась и хотела выйти. Анна Леопольдовна удержала ее за руку.

— Не сердитесь, извините меня, — проговорила она более мягким голосом, — право, столько неприятностей, я так раздражена, что не умею сдерживаться. Останьтесь на минутку, мне еще кое-что нужно сказать вам.

— Что вам угодно от меня?

— А вот что: слышала я, матушка, будто ваше высочество имеет корреспонденцию с неприятельской армией и будто ваш лекарь Лесток чуть не ежедневно ездит все к тому же французскому посланнику и принимает участие во всех его злоумышлениях. Вот я получила письмо из Бреслава, в котором мне советуют сейчас же арестовать лекаря Лестока.

Анна Леопольдовна остановилась и пристально взглянула на цесаревну; но та себя не

выдала: ее внезапно охватила решимость.

Минута была слишком важная, эта минута могла погубить ее, и она нашла в себе силу бороться со своим волнением.

Конечно, она ничего не могла бы скрыть на своем выразительном лице, но, ведь, оно и до этой минуты, во все продолжение разговора с правительницей, было взволнованно — это помогло ей.

Анна Леопольдовна ничего особенного не прочла в лице ее и прибавила:

— Конечно, я не верю всем этим слухам, я не хочу подозревать вас в сношениях с Шетарди и со всеми нашими врагами, и я надеюсь, что если Лесток окажется виновным, то вы не рассердитесь, когда его задержат.

— Я с неприятелем отечества моего никаких альянсов и корреспонденции не имею, — спокойным голосом ответила Елизавета, — а если мой доктор ездит к французскому посланнику, то я его подробно допрошу об этом и как он мне донесет, сейчас же и объявлю вам.

На этом закончился разговор между ними. Цесаревна еще несколько времени пробы-

ла в приемных комнатах и потом незаметно удалилась.

Вернувшись к себе она поспешно призвала Лестока, Разумовского, Воронцова и Шувалова и со слезами на глазах подробно рассказала им о своем разговоре с правительницей.

Лесток побледнел. Ему снова представилось, что он слышит шум в соседней комнате и что это пришли арестовать его.

— Ну, вот уже теперь-то, теперь-то нельзя медлить ни минуты, ваше высочество, — проговорил он задыхающимся голосом, — еще один день, и мы все пропали. Решайтесь, ради Бога. У нас все готово: вся гвардия от первого до последнего человека за нас.

К его просьбам и убеждениям присоединились и все остальные.

— Да, вы правы! — наконец, прошептала Елизавета. — Оставьте меня теперь, я очень устала: завтра дело решится...

Оставшись одна, она погрузилась в глубокое раздумье. Теперь окончательно подошла решительная минута и отступление невозможно. Если действуя энергично, можно погубить себя и своих, то при бездействии гро-

зит точно такая же гибель. Ведь, вот уже Анна Леопольдовна ясно высказалась. Она никогда так до сих пор не говорила, и если она так говорит, то чего же ждать от Остермана. Да, правительница в дурных отношениях с мужем своим и Остерманом, но теперь, в виду общей опасности, они станут действовать сообща и все вместе погубят ее. И правительница будет точно так же оправдываться в своем поступке, как оправдывалась тогда, по поводу Миниха. Она будет говорить: «муж и Остерман не давали мне покоя».

«Лесток, — продолжала думать Елизавета, — он мне предан, но, ведь, он трус, ужасный трус!.. Ведь, вот, как я рассказала о том, что его хотят арестовать, он чуть не заплакал, готов был спрятаться под стол, дрожит весь. Если его схватят и начнут пытаться, Боже мой, чего только он не наскжет и на себя, и на меня!.. И тогда я погибла!.. Мне нет спасения! Да, теперь конец... или удача, полная удача или гибель. Боже мой! И я одна... и нет ни одного твердого, надежного человека; я одна, слабая женщина, должна совершить то, что редко удается и самому отважному мужчине...

Боже мой, но как же я сделаю? Что я буду делать?..»

Цесаревна зарыдала, бросилась на колени перед иконами и начала молиться.

Молитва несколько ободрила ее и успокоила; но часто в течение ночи она просыпалась, прислушивалась, сердце ее шибко билось, она ждала, что вот — вот вблизи раздадутся зловещие звуки, бряцанье оружия, что ее схватят...

На следующее утро она долго не выходила из своей спальни, медлила минуту за минутой, боялась встретиться со своими, не зная что им скажет. Она чувствовала, что должна будет объявить о своем решении действовать немедленно, а у нее все же не хватало духу.

Мавра Шепелева почти силой ворвалась к ней в спальню и объявила, что есть важные новости и что все просят цесаревну выйти.

Бледная, взволнованная появилась Елизавета перед своими друзьями.

— Матушка, ваше высочество, — заговорили все разом, — если еще пропустить один день, не решиться сегодня, то все пропало. Нам доподлинно известно, что сейчас отдан

приказ по всем гвардейским полкам быть готовыми к выступлению в Финляндию против шведов.

— Да что же это значит? Зачем же? — спросила Елизавета.

— А вот говорят, что получено известие, будто Левенгаупт идет к Выборгу; только, конечно, это вздор! — заметил Лесток дрожащим голосом. — Это предлог только, они намеренно хотят удалить всю гвардию, зная ее приверженность к вам; удалят, и мы тогда все в руках их, они сделают с нами что хотят... мы будем беззащитны! Ради Бога, умоляем вас, ваше высочество, не медлите, не откладывайте!

Елизавета побледнела еще больше.

— Да, хорошо... конечно, вы правы... — почти бессознательно шептала она. — Но что же мне делать? Ведь, я... женщина!

— Конечно, это дело требует не малой отважности, — сказал Воронцов — но в ком же искать эту отважность, как не в крови Петра Великого?!!

Лесток послал благодарный взгляд Воронцову. Елизавета вздрогнула. Это неожиданное

удачное слово разбудило в ней энергию.

— Я согласна, — сказала она более твердым голосом. — Так как же вы думаете, что теперь нужно делать? Вы говорите: действовать, но, ведь, мы еще не знаем, не решили, как нужно действовать?! Гвардия за меня... хорошо...

— Значит нужно, чтобы вы явились перед гвардией, ваше высочество, — перебил цесаревну Воронцов, — и повели солдат к Зимнему дворцу!

— Я... я сама должна? — прошептала Елизавета и опустила глаза. — Но послушайте! — вдруг произнесла она после минутного молчания. — Кто вам сказал о том, что гвардейские полки высылаются отсюда? Может быть, это неверно?!

При этих словах Лесток задрожал всем телом. Он уже было успокоился, ему казалось, что цесаревна, наконец, решилась, но теперь он видел, что она снова колеблется. Она колеблется, а тут каждый час дорог! Тут вот того гляди сейчас придут и арестуют его... и он пропал!

Воронцов пробудил энергию в цесаревне,

напомнив ей об ее отце, поднял ее самолюбие, теперь нужно наглядно представить ей самое светлое и самое мрачное возможное будущее, нужно пробудить в ней все чувства!

И Лесток, дрожащий, измученный бессонной ночью, полною всевозможных страхов, неожиданно для себя самого, придумал следующую штуку: он схватил две карты из колоды, — лежавшей на столе, и карандаш, нарисовал на картах две картинки — на одной изобразил Елизавету в монастыре, где обрезают волосы, а на другой — Елизавету, вступающую на престол и приветствуемую народом.

Карандаш так и ходил под пальцами Лестока и минут в пять обе картинки, хоть и не особенно удовлетворительные в художественном отношении, но достаточно выразительные, были готовы.

Лесток подал их цесаревне.

— Я и без вас знаю, — проговорила она.

— Так если знаете, ваше высочество, то пошлите же немедленно за гренадерами.

— Хорошо, — ответила цесаревна, — только все же сейчас это невозможно: нужно дожидаться вечера.

Это замечание было основательно. Приходилось ждать несколько часов.

Лесток отправился к себе, заперся на ключ, улегся в постель, закрылся с головой в теплое одеяло, чтобы ничего не слышать и все силы напрягал как-нибудь остановить свои мысли, забыться и заснуть. Это, наконец, удалось ему и из-под одеяла раздался мерный храп храброго медика.

XIII

Если бы шпионы могли заглянуть во внутренние комнаты дворца цесаревны, то немедленно донесли бы о том, что у нее творится что-то необычайное.

Обед стоял нетронутым, цесаревна заперлась в своей комнате. Лесток тоже не показывался. Шувалов с Воронцовым, забравшись в уголок, тихо толковали между собой.

Мавра Шепелева бродила из комнаты в комнату, совсем растерянная и взволнованная, то и дело подходила к спальне цесаревны, прислушивалась к замочной скважине и вздыхала.

Разумовского не было дома; он успел побывать в казармах, кое-что тут приготовить, а

потом начал наведываться к разным своим приятелям.

Заезжал было маркиз де-ла-Шетарди, но его не приняли, объявив, что цесаревна, нездорова и лежит в постели.

Только один человек из всей елизаветинской компании казался совершенно спокоен: это был старый учитель музыки Шварц.

В то время как все потеряли головы и волновались, он, кажется, был вполне уверен в благополучном исходе затеянного дела. С большим аппетитом пообедал, выкурил трубку и теперь только по временам посматривал на свои круглые карманные часы, давно уже подаренные ему цесаревной.

Наконец, кое-как время дотянулось до вечера. Вот уже десятый час. Кругом дворца все тихо, ночь темная — зги не видно. С утра была снежная метель, но теперь стихла и мороз прибавляется.

Лесток вышел из своей комнаты в меховом кафтане и с шапкой в руках.

— Что же, послали за гренадерами? — таинственным шопотом спросил он у Воронцова.

— Нет еще, цесаревна не выходит.

К ним подошла Мавра Шепелева.

— Матушка, — схватив ее за руку своею дрожащей рукою, сказал Лесток, — поди, добудь цесаревну. Пора, ведь, упустим время!

Она подошла к двери спальни, прислушалась — все тихо; кашлянула, ничего не слышно.

— Матушка, голубушка моя! — заговорила Мавра. — Отомкнись, не то поздно будет!

Послышались тихие шаги, замок щелкнул, дверь отворилась и из темноты спальни показалась статная фигура цесаревны. Глаза ее были заплаканы, лицо бледно.

— Что? Какой час? — спросила она растерянным голосом.

— Да уже десять скоро.

Елизавета судорожно сжала руку своей приятельницы и пошла с ней в ту комнату, где находились остальные.

— Посылайте! — проговорила она, опускаясь в кресло и глядя неподвижными глазами куда-то в одну точку.

Все засуетились. Воронцов быстро собрался и отправился в преображенские казармы.

Говорить было не о чем; все молчали: время невыносимо долго тянулось.

Прошло часа полтора. Воронцов, наконец, вернулся, запыхавшись, с разгоревшимися от мороза щеками и доложил цесаревне, что несколько человек гренадерских офицеров и солдат пришли вместе с ним и дожидаются ее.

— Впустите их! — прошептала Елизавета.

Гренадеры вошли; они были в полной форме.

— Матушка, ваше высочество, — сказали они тихо, но почти все в один голос, — ведаешь ли ты, что мы немедленно должны выступить в поход? Уже приказ нам отдан... Мы уйдем и не в силах будем служить тебе, некому будет защищать тебя и ты будешь в руках своих злодеев. Нельзя терять ни минуты, время дорого!

— Так, значит, вы согласны сослужить мне великую службу? И я могу на вас положиться? — проговорила Елизавета дрогнувшим голосом.

— Господи, только, ведь, и ждем, что этой минуты! — ответили гренадеры. — Именем

Христа Спасителя клянемся не выдавать тебя. Все до одного умрем за тебя с радостью!

И все они, как один человек, повалились в ноги цесаревне.

Крупные слезы брызнули из глаз ее. Она кинулась к ним, стала поднимать их.

— Спасибо, спасибо! — повторяла она сквозь рыдания. — Только выйдете на минуточку, дайте мне успокоиться.

Все вышли, одна Мавра Шепелева, да Воронцов остались у дверей.

Елизавета, обливаясь слезами, прошла в угол комнаты, где висел большой образ Спасителя, с зажженной перед ним лампадой. Она упала на колени перед этим образом и горько рыдала. Наконец, рыдания ее стихли.

«Так суждено! — прошептала она. — Да будет воля твоя, Господи! Быть может впереди кровь и всякие ужасы, гибель и казнь невинных! Но, Боже, не поставь мне этого в грех! Прости меня. Ты видишь сердце мое, видишь, что в эту минуту не о себе я думаю, не о своем величии и не о своем счастье, а только о счастье и величии русского народа! Измучилось сердце мое, глядя на его страдания. Я слабая

женщина, я недостойна того, за что восстаю теперь, но не оставь меня и помоги мне! Если суждена мне победа над врагами моими, если суждено мне вступить на престол отца моего, сделай меня достойной этого! А я клянусь своей жизнью и душою, что непрестанно буду помышлять о том, чтобы не забывать этой великой Твоей милости, оказанной мне грешной, буду вечно помышлять о благе моих подданных... Боже, прими мою великую клятву: да отсохнет рука моя, если хоть раз я подпишу приговор смертный! Будь это хоть лютейший враг мой, никого никогда не лишу я жизни! Не ради мщения, не ради возможности безнаказанно творить всякие жестокости простираю я руки к престолу, а ради справедливости. Но если я недостойна, то покарай меня, Боже! Пусть одна я вынесу на себе все последствия этого дела, на которое решаюсь, пусть буду я отдана лютейшим мучениям, только спаси тех, кто идет за мною, ибо они ни в чем неповинны!..»

И долго она молилась, слезы по-прежнему катились из глаз ее, но в них уже не было прежней горечи, напротив, они принесли ей

тихую отраду. Ее волнение, ее тоска и муки мало-помалу утихали. Все сердце ее было исполнено кротости и веры.

Наконец, поднялась она с колен, сделала знак Мавре Шепелевой, чтобы та подошла к ней, — и приказала ей поскорей принести из спальни крест. Когда Шепелева исполнила это приказание, Елизавета приняла крест, позвала Воронцова, Лестока, Шувалова, осенила себя крестом, приложилась к нему и твердым, торжественным голосом проговорила:

— Будьте свидетелями, что я клянусь Богу, если Он пошлет удачу нашему предприятию, ни разу, ни при каких обстоятельствах не подписывать никому смертного приговора! Клянитесь и вы не требовать никогда от меня жестокости и не смущать меня.

Присутствовавшим показалось, что она даже как будто выросла, так была она величественна и спокойна.

С волнением и трепетом приложились они к кресту, и цесаревна вышла в соседнюю комнату, где ее дожидались гренадеры.

Они невольно вздрогнули, увидя ее. Нико-

гда еще не видали они ее такую. Перед ними была уже не прежняя их приветливая, шутливая и веселая матушка-цесаревна, перед ними была великая государыня, чудно прекрасная в своем царственном величии, истинная дочь великого императора.

С сердечным умилением принесли они присягу в верности ей и поцеловали крест из рук ее.

— Если Бог явит милость свою нам и всей России, — торжественно проговорила цесаревна, обращаясь к гренадерам, — то я не забуду верности вашей, а теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду.

Восторженно взглянули воины сначала на нее, потом друг на друга и быстро исчезли исполнять ее приказание.

Лесток уже не дрожал более. Теперь он понял, что не нужно никаких картинок, что никакая сила не заставит Елизавету идти назад.

— Скорей велите заложить большие сани и принесите мне кирасу! — приказала Елизавета.

Через четверть часа сани были готовы. Це-

саревна сверх маленькой шубки надела кирасу и отправилась в казармы Преображенского полка с Воронцовым, Лестоком и Шварцем.

Гренадерская рота была уже в сборе, когда подъехала цесаревна.

— Ребята! — громким, звучным голосом обратилась она к солдатам, выходя из саней. — Вы знаете, чья я дочь. Ступайте за мною!

— Матушка! — закричали в ответ солдаты и офицеры. — Мы готовы! Мы их всех перебьем, ни один от нас не увернется! Всем им смерть, негодным!

Елизавета вздрогнула.

— Если вы так будете поступать, то я не пойду с вами, — сказала она.

Тогда гренадеры стихли, а она приказала им разломать барабаны, чтобы не было возможности произвести тревогу, потом взяла крест и стала на колени.

Все последовали ее примеру. Несколько минут продолжалась торжественная тишина.

— Клянусь умереть за вас! — среди тишины, наконец, раздался голос цесаревны. — А вы клянетесь ли умереть за меня?

— Клянемся! — разом загудела толпа. —

Клянемся умереть все от первого до последнего!

— Так пойдем! — продолжала Елизавета, поднимаясь с колен. — Пойдем и будем думать только о том, чтобы сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало.

Она вернулась к своим саням, села в них и тихо тронулась, окруженная гренадерами, по направлению к Зимнему дворцу.

Воронцов, Лесток и Шварц следовали за нею.

Воронцов объявил гренадерам о том, как нужно действовать. Арестовать брауншвейгскую фамилию — мало, следует одновременно с этим произвести аресты и людей, особенно приверженных теперешнему правительству.

Гренадеры, конечно, согласились с этим и немедленно был отправлен отряд арестовать Миниха в его доме.

Вышли на Невскую перспективную улицу; тишина была полная, ничего не видно.

Шествие подвигалось медленно.

По дороге арестовали графа Головкина и барона Менгдена. Затем отрядили двадцать

гренадер для ареста Левенвольда и Лопухина и тридцать гренадер послали к дому Остермана.

Вот уже и Мойка близко, близка конечная цель, но мало ли еще какие могут быть опасности и препятствия. Правда, до сих пор никого не встретили, но кто знает, быть может, шпионы подсмотрели и донесли во дворец; а если и нет еще, то все же надо подвигаться как можно тише, чтобы не слышно было никакого шума.

— Матушка, государыня! — тихо заговорили гренадеры Елизавете. — Так, ведь, не скоро дойдем, надо бы торопиться, да и шум от коней велик; выйди из санок!

Елизавета покорно исполнила это требование, прошла несколько шагов, но не могла поспевать за солдатами; к тому же кираса была тяжела. А гренадеры все повторяли: «матушка, надо торопиться!»

Цесаревна ускоряла шаги, но все же ненадолго, она начинала просто задыхаться.

Видя это, гренадеры сомкнулись вокруг нее и подняли ее на руки.

Таким образом шествие приблизилось к

Зимнему дворцу.

— Ну, что ж; теперь надо занимать караульную? — сказали офицеры.

— Да, — отвечала Елизавета, которую гренадеры осторожно поставили на землю, — да, но только Боже избави вас произвести какое-нибудь насилие! Помните, в чем вы поклялись мне: не должно быть пролито ни одной капли крови; я сама пойду с вами.

И она, окруженная солдатами, направилась в караульную. Там никто не был предупрежден, и караульные спросонок решительно не понимали, что такое делается. Сначала они было повскакали и схватились за оружие, но, увидя цесаревну, остановились.

— Не бойтесь, друзья мои! — сказала она им. — Хотите ли вы служить мне, как служили отцу моему и вашему Петру Великому? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд и теперь терплю, и народ весь терпит от иноземцев. Освободимся от наших мучителей!

— Давно мы дожидаемся этого, государыня-матушка, что велишь, все то сделаем! — отвечали почти все.

Но четыре офицера стояли молча и пере-

глядывались.

— Как же это так? — проговорил, наконец, один из них. — Ведь, мы присягали императору Иоанну III, как же это? Не ладно что-то!

— Арестуйте их! — шепнула Елизавета гренадерам. — Только смотрите, осторожней.

Гренадеры кинулись к офицерам, троих из них сейчас же связали, те не стали и сопротивляться.

Но один офицер ударил подступившего к нему гренадера и схватился за оружие. Гренадер в свою очередь поднял ружье и направил штык на офицера.

— Остановись! — крикнула Елизавета. Гренадер ничего не слышал. Еще мгновение и он пронзил бы штыком офицера. Цесаревна кинулась к нему и схватила ружье.

Между тем, упрямого офицера успели связать и зажали ему рот платком.

Поступок Елизаветы произвел сильное впечатление: кругом раздались восторженные возгласы. Она приказала занять все выходы и вошла во дворец, где караульные молча пропустили ее и гренадера. Только один унтер-офицер крикнул и вздумал было защи-

цаться, но его сейчас же схватили и снесли вниз в караульню.

Елизавета была у цели: все опасные люди, конечно, уже теперь арестованы; дворец в ее руках. У каждой выходной двери солдаты, которые никого не выпустят.

Она велела нескольким офицерам и солдатам пройти в апартаменты принца Антона, а сама направилась к спальне правительницы.

Вот эта спальня; еще так недавно цесаревна входила в нее при совершенно других обстоятельствах. Еще так недавно в этой спальне она наклонялась над колыбелью новорожденной дочери Анны Леопольдовны, целовала девочку.

Ей припомнился и крошечный, ни в чем неповинный сын Анны Леопольдовны, на которого она теперь поднимала руку. Ее сердце сжалось от жалости.

«Боже мой, чем же они виноваты, эти дети? Зачем мне суждено быть палачом их? Что делать теперь с ними? Судьба их не может быть светлою, как ни жалею, как ни люблю их, они вечно будут моими врагами, и я всегда,

из чувства самосохранения, должна буду укрощать порывы своего сердца, должна буду сама готовить им тяжелое будущее».

Вспомнилась ей и Анна Леопольдовна, но не такая, какою видела ее она в эти последние дни. Ведь, прежде, еще при покойной императрице, они иногда очень дружелюбно сходились. Не мало приятных часов провели вместе, не раз Анна Леопольдовна оказывала ей кое-какие дружеские услуги и всегда относилась к ней с добротой. Да она, ведь, и не зла. Она и теперь сама по себе не враг ей и все, в чем виновата перед нею, происходит тоже от обстоятельств. Не будь этих ужасных обстоятельств, они, может быть, мирно и дружно прожили бы всю жизнь, без всякой вражды и ненависти.

Ужасно! Вот и теперь, окруженная солдатами, войдет она в ее спальню, разбудит, перепугает. Бедная Анна Леопольдовна заболеть может с испуга, она такая слабая!

Была минута, когда снова прежняя робость стала одолевать цесаревну, была минута, когда она чуть было даже не раскаялась в том, что сделала, когда ей инстинктивно захоте-

лось вдруг убежать отсюда, убежать как можно дальше и запереться где-нибудь в далекой, тихой келье, отказаться от всего мира, только бы не брать невольного греха на душу, только бы не быть предметом ненависти и проклятий.

Но это мгновение едва мелькнуло и сейчас же исчезло.

«Разве может, разве смеет она отдаваться подобному чувству? Нет вины за ней, не она действует, не она карает, она только орудие Промысла и перед нею должно быть одно: счастье и благо России».

Цесаревна оглянулась на своих гренадер, прошептала им: «тише!» и твердой рукой отворила двери в спальню правительницы.

XIV

Во дворце никому и в голову не могла придти возможность близкой и неминуемой опасности. Напротив, Анна Леопольдовна, после своего объяснения с цесаревной, видимо, успокоилась и даже хвасталась Юлиане, что отлично проучила Елизавету.

— Теперь она знает, — говорила правительница, — что не очень-то легко замыш-

лять заговоры. Да и пустяки это: мало ли что болтают! Если уж бояться кого-нибудь мне, то никак не ее, а моего супруга с графом Остерманом.

Может быть, в другое время постоянно проницательная Юлиана нашла бы кое-какие возражения, может быть, она сумела бы изменить мысли Анны Леопольдовны относительно цесаревны. Но теперь Юлиана ничего не возражала, потому что весь этот разговор несколько не интересовал ее, потому что все последнее время она жила только своей внутренней жизнью.

Те, кто не видал ее недели с две, поражались переменой, происшедшей в ее наружности. Она похудела, побледнела, глаза ее лишились прежнего блеска и во всем лице изображалась страшная усталость.

«Фрейлина больна, — толковали во дворце, — и, должно быть, серьезно больна». Спрашивали ее доктора, но тот только пожимал плечами и не мог ничего ответить. Он совершенно не понимал ее болезни, ради успокоения совести прописывал ей безвредные микстуры, которых она не принимала, или прини-

мала только по настоящему требованию правительницы и из рук ее.

Не раз порывалась Юлиана запереться у себя и никого не впускать, главное, не впускать Анну Леопольдовну. Но это оказалось невозможным.

Правительница насильно врывается к своему другу; плакала, целовала ее, расспрашивала что с нею, допытывалась, не хочет ли она чего-нибудь.

— Боже мой, может быть, у тебя есть какое-нибудь горе, или, может быть, я в чем-нибудь виновата перед тобою? Скажи мне, ради Бога, признайся!.. Я все готова сделать для тебя! Что с тобой! Ты так изменилась, ты на себя не похожа. Ради Бога, скажи мне: хочешь чего-нибудь? Проси, требуй, все будет к твоим услугам...

Но Юлиана ничего не отвечала и только печально опускала глаза. Она видела искреннее участие и чувство Анны Леопольдовны, она сама продолжала любить ее, своего старого и неизменного друга. Она не находила в себе силы рассказать ей истину, потому что боялась, что эта истина так же разрушительно

подействует и на принцессу, как и на нее самое подействовала. Чувство Анны Леопольдовны к Линару было истинной любовью, и Юлиана знала это.

«Нет! Боже избави, как же можно хоть что-нибудь сказать ей, хоть намекнуть, тогда совсем гибель, тогда мы обе погибли».

«Нет, уж лучше пусть я одна, — думала Юлиана, — пусть хоть она-то будет счастлива! Ах, только бы ушла от меня! Оставила бы меня одну, одной все же легче».

И она упрашивала Анну Леопольдовну выйти, она говорила, что устала, что ей спать хочется, но принцесса не слушалась.

— Ты нездорова, тебе дурно, как же ты требуешь, чтобы я ушла от тебя? Разве ты когда-нибудь отходила от меня, когда я была больною? Нет, я не уйду отсюда! Ложись, спи, я буду охранять тебя.

Она своей слабой, нежной рукою обнимала Юлиану, укладывала ее в постель, садилась возле.

Проходило несколько минут в молчании. Юлиана делала вид, что засыпает.

— Ты спишь, Юлиана? — тихо спрашивала

Анна Леопольдовна.

Та не отвечала.

— Ну, хорошо, спи, спи. Я буду говорить тихо, тихо, ты хоть не слушай меня, но я не могу молчать, я буду говорить о нем. Ты знаешь, что я только немного успокаиваюсь тогда, когда говорю с тобою!

Юлиана вся вздрагивала от слов этих. «Боже мой, еще этого не доставало!»

А, между тем, Анна Леопольдовна говорила. Имя Линара повторялось ежеминутно, и каждое новое слово раздражало и мучило бедную Юлиану.

Правительница передавала ей все свои мечты, все свои предположения. Подробно рассказывала о том, что говорил с нею тогда-то и тогда-то Линар, с наслаждением вспоминала все те слова его, в которых выражалась его горячая любовь к ней, Анне Леопольдовне.

Юлиана не в силах была больше сдерживаться и притворяться спящей.

Стиснув зубы, охватив свою горящую голову руками, она начинала метаться на постели.

Принцесса подбегала к столу, схватывала микстуру, наливала ложку и заставляла Юлиану проглотить лекарство.

— Ради самого Бога, если у тебя есть хоть капля жалости, оставь меня! — наконец, произносила Юлиана, едва удерживая рыдания.

Но Анна Леопольдовна ее не слушала и не уходила до тех пор, пока кто-нибудь не являлся звать ее в приемные покои. Она сдавалась только перед необходимостью.

Освободясь от ее присутствия, Юлиана кидалась к двери, запирала ее на ключ и раздражалась рыданиями.

Иногда у нее хватало даже силы на несколько часов забыться, отдаться прежней жизни, прежним интересам. Тогда она снова оживлялась, выходила в приемные комнаты, встречала приветливой и благосклонной улыбкой сановников, постоянно ожидавших возможность сказать несколько слов, попросить ее о чем-нибудь, или просто показаться ей: напомнить о себе, получить благосклонную улыбку всесильной фаворитки.

Весь день 24 ноября во дворце было много гостей: приезжали поздравить правительни-

цу с тезоименитством ее дочери Екатерины. Но часу в одиннадцатом вечера все разъехались, огни были потушены.

Принц Антон удалился на свою половину, а Анна Леопольдовна прошла к Юлиане.

Она застала фрейлину лежавшею на постели с открытыми глазами и бледным, почти безжизненным лицом.

— Что с тобою? — спросила Анна Леопольдовна. — Отчего ты так рано скрылась? Я нарочно всех отпустила раньше, чтобы побыть с тобой.

— Мне опять что-то нездоровится, — прошептала Юлиана.

— Послушай, я ни за что не оставлю тебя сегодня ночью, пойдем ко мне, ты будешь спать со мною.

— Да зачем же?.. — начала, было, Юлиана.

Но Анна Леопольдовна не хотела ничего и слышать. Она настаивала и умоляла до тех пор, пока Юлиана, наконец, согласилась.

Тогда они прошли в спальню правительницы, скоро разделись и легли рядом на огромной, высокой кровати под роскошным балдахином.

Скоро замерли последние звуки в соседних комнатах; весь дворец погрузился в сон и тишину...

В это время Елизавета стояла в Преображенских казармах с крестом в руках, окруженная коленопреклоненными солдатами и офицерами...

Анна Леопольдовна начала засыпать; Юлиана прислушивалась к ее мерному дыханию и сама погружалась в туманный, почти неуловимый мир полугрез и обрывающихся, быстро несущихся мыслей. То был не сон, но и не явь: сознание действительности сменялось фантастическими картинами и уже Юлиана не могла сообразить, что во всем этом фантазия, и что действительность. То ее горе, несчастье, которое она сама себе приготовила и под бременем которого изнывала, казалось ей еще ужаснее, оно принимало даже какую-то видимую форму, страшный, гигантский образ, и надвигалось на нее, давило ее своей каменной тяжестью; то внезапно и в одно мгновение рассыпалось страшное видение и откуда — то, из лучезарной высоты, слетало счастье, никогда наяву неизведанное.

Вот чудится Юлиане, будто медленно колышятся тяжелые, бархатные занавесы двери, вот появляется он, в каком — то чудном сиянии. Она кидается ему навстречу, он шепчет ей сладкие речи, она отвечает ему поцелуями. Все предметы кругом исчезают, все уходит! Они одни среди блестящего пространства, не на земле и не на небе, в заколдованном мире...

Кто-то хватает ее за руку. Она открывает глаза...

Анна Леопольдовна проснулась и глядит на нее.

— Я сейчас видела его во сне, — говорит принцесса. — О! Если б эти сны могли постоянно сниться, тогда бы я велела поставить на окнах ширмы, заперлась бы со всех сторон и никогда бы не просыпалась!

И Анна Леопольдовна начала пересказывать Юлиане все подробности своего сновидения. И та ее слушала, сжав на груди руки...

Внезапно налетевший порыв ветра ударил в окна, и звякнули стекла, но сейчас же все снова погрузилось в невозмутимую тишину; до спальни правительницы не доносилось

извне ни одного звука...

Цесаревна Елизавета Петровна, в кирасе, бережно несомая своими верными гренадерами, уже была в двух шагах от дворца караульни...

— Ах, Юлиана, — прошептала Анна Леопольдовна, — постараюсь опять заснуть...

Она повернулась на другой бок и закрыла глаза. Прошло несколько минут. Мерное дыхание двух приятельниц показывало, что обе они заснули...

XV

Елизавета почти, беззвучно отворила дверь и прошла в спальню.

— Стойте все здесь, — обратилась она к гренадерам, — и ни шагу вперед!

Она подошла к кровати.

«Какая трогательная дружба! — невольно подумалось ей при взгляде на спавших. — Даже и во сне обнимаются!»

При других обстоятельствах, веселая и во всем подмечавшая смешное, Елизавета, конечно, и тут нашла бы много комичного, большую пищу для своих остроумных шуток.

Но теперь ей совсем было не до этого. Она

смущенно и грустно глядела на Анну Леопольдовну и не знала, как разбудить ее.

Но мешкать было нельзя.

— Сестрица, пора вставать! — громко сказала она, взяв за руку принцессу.

Та проснулась, открыла на нее изумленные глаза.

— Как? Это... это вы, сударыня? Что вам от меня угодно? Зачем вы меня будите?

Она обернулась к Юлиане. Та тоже сидела на постели и с ужасом глядела на дверь, из-за которой в полумраке рисовались фигуры вооруженных людей.

Анна Леопольдовна невольно последовала глазами за взглядом Юлианы и безумно вскрикнула.

Она сразу все поняла.

Елизавета подошла к двери и спустила занавесы для того, чтобы гренадеры не могли видеть происходившего в комнате.

Анна Леопольдовна, судорожно рыдая, бросилась на колени перед цесаревной.

— Сестрица, ради Бога, сжальтесь! — пролепетала она. — Не за себя я молю вас, я знаю, что мне нечего хорошего ожидать для себя. Я

умоляю вас, не делайте зла моим бедным детям, которые ни в чем неповинны перед вами! Сжальтесь над ними! И еще, ради самого Бога, не одна просьба; всем святым заклиная вас, не губите моего друга Юлиану, не разлучайте меня с нею... голубушка, сестрица, умоляю вас!

Она все лежала на ковре перед Елизаветой, ловила ее платье и глядела на нее таким отчаянным, умоляющим и жалким взором, что у Елизаветы навернулись на глазах слезы.

Между тем, Юлиана, по-видимому, даже почти спокойная, только необыкновенно бледная и с сухими, блестящими глазами, поспешно одевалась. Она не произнесла ни одного слова, она не глядела на Елизавету. В первую минуту она бессознательно ужаснулась, и когда поняла все, то хотела пробиться сквозь гренадер и разбудить всех в доме, поднять на ноги.

«Но, нет, — сейчас же и сообразила она, — верно, все уже устроено заранее, теперь ничего не поделаешь»!

И вдруг она почувствовала какое-то успо-

коение.

Да, прежней тоски, прежних мучений в ней как не бывало. Она еще не отдавала себе отчета в том, что в ней теперь творится. Но через несколько минут, в то время как Анна Леопольдовна умоляла за нее цесаревну, она уже говорила сама себе:

«Нет, это не несчастье, это к лучшему, это выход! Все равно так не могло продолжаться! Да, все к лучшему, все к лучшему, теперь я знаю, что мне надо делать!..»

С безграничною, ничем уже не омрачаемою любовью, взглянула она на Анну Леопольдовну. Слезы брызнули из глаз ее.

— Не разлучайте меня с нею, сестрица! — повторяла, задыхаясь от рыданий, принцесса.

«Только смерть теперь разлучит меня с тобою!» — почти вслух выговорила Юлиана, бросаясь к своему другу.

— Дети мои! Дети! — вскрикнула, всплеснув руками, Анна Леопольдовна.

— О детях не беспокойтесь, ничего дурного с ними не будет. Я никогда не была зверем и мне самой тяжело все это...

Елизавета отошла к двери, Юлиана по-

спешно стала помогать Анне Леопольдовне одеваться. Через несколько минут они были готовы и, в сопровождении отряда гренадер, направились к выходу из дворца.

В одной из комнат они увидели принца Антона, окруженного солдатами. Он не думал сопротивляться, когда его разбудили и объявили, что он арестован; он хорошо понял, что все пропало и нет ни малейшей надежды на спасение. Машинально оделся он и пошел туда, куда его вели. Теперь он стоял как-то съезжившись, дрожа всем телом, с необыкновенно жалкой и в то же время смешной физиономией. Опять, как и во время Бирона, он был похож на несчастного, загнанного зайца. Елизавета взглянула на него, но и тут ей пришлось в голову улыбнуться. Она только повернулась в сторону Юлианы и сказала ей:

— Вы поедете с принцем.

А сама взяла за руку Анну Леопольдовну, сошла с крыльца вместе с нею, усадила ее в сани, потом села рядом с нею и приказала ехать в свой дворец. Отряд гренадер почти бегом спешил за ними.

Дворец цесаревны представлял небывалое

до тех пор зрелище. Среди глубокой ночи ворота стояли настежь; в окнах мелькали свечи. Многочисленные группы солдат ежеминутно подходили со всех сторон и останавливались у подъезда. Более приближенные лица толпились в первой комнате, и только что Елизавета показалась, в сопровождении Анны Леопольдовны, все кинулись к ней, поздравляли ее, целовали ее руки. Вот на пороге комнаты появилась Мавра Шепелева, всплеснула руками и, растолкав всех, бросилась на шею цесаревне.

— Матушка моя, золотая! — причитала она, навзрыд плача и смеясь в одно и то же время. — Голубушка ты моя! Царица! Императрица!

— Ну, успокойся, Маврушка, успокойся! — ласково повторяла Елизавета, целуясь с нею.

Через несколько минут привезли из Зимнего дворца детей Анны Леопольдовны. Принцесса кинулась к своей крошечной дочери. Обливаясь слезами, схватила ее на руки, крепко прижала к себе и не выпускала. Елизавета печально подошла к маленькому императору, жалобно плававшему на руках у

мамки, взяла его осторожно, стала целовать и тихо шептала:

— Бедное дитя! Ты вовсе невинно, твои родители виноваты.

Между тем, прибывало все больше и больше народу! Еще никогда, пренебрегаемый почти всеми, обветшалый дом цесаревны не вмещал в себе столько гостей, никогда не было в нем такого оживления. Скоро собрался сюда весь цвет вчерашнего правительства.

Привезли и принца Антона вместе с Юлианой Менгден. Бедный принц все так же дрожал и безмолвствовал. Юлиана все так же была спокойна. И некому было заметить в эти важные минуты, что судьба сыграла очень злобную шутку с принцем Антоном: соединила-таки его и Юлиану, за которою он прежде так ухаживал и которую, в последнее время, так ненавидел.

Вслед за ними появились и другие важные гости и прежде всех тоже два старых друга: Миних и Остерман. Миних шел довольно бодро, только старался ни на кого не глядеть. Остерман выступал вслед за ним, кряхтя и охая, но все же без костылей. Ноги его вдруг

получили способность двигаться, а уж когда же и было ему умирать, как не теперь!? Он был без парика, без своего зеленого зонтика, в иных местах его одежда оказалась изорванной. Несмотря на строгий приказ Елизаветы, солдаты не поцеремонились: избили его порядком во время ареста. Впрочем, они имели на это оправдание. Он вздумал было пугать их, стал кричать, что они жестоко пострадают за свой поступок и кончил тем, что весьма неуважительно отозвался об Елизавете. Вследствие этого солдаты и не могли сдержаться себя. Миних тоже был избит солдатами, но тут они могли оправдаться только тем, что уже давно все войско его ненавидело и что нечего было жалеть его.

Воронцов, Лесток и остальные приближенные Елизаветы принимали гостей и заботились о том, чтобы эти гости никак не могли отказаться от угощения. Впрочем, этого нечего было бояться: только безумный мог решиться теперь на попытку к бегству, все понимали, что дело сделано и сделано бесповоротно.

Мавра Шепелева как угорелая бегала по

комнатам, сама не зная, зачем отдавала то одно, то другое приказание прислуге и сейчас же забывала о том, что такое приказывала. На лице Лестока изображалось необыкновенное довольство и важность. Он первый пришел в себя и вполне наслаждался торжеством своим, подходил то к одному, то к другому из сверженных своих врагов и заглядывал им в лицо с плохо скрываемым выражением плотоядного наслаждения.

Если бы от него зависело, он сейчас бы, ни на минуту не смущаясь, выдумал всем этим людям самые страшные пытки и подписал бы этот приговор твердой рукою.

«Неужели она не откажется от своей излишней кротости? — думал он, глядя на цесаревну. — Неужели она избавит их от казни?»

К его неудовольствию лицо Елизаветы отвечало ему, что казней никаких не будет.

Она сидела теперь, откинувшись на спинку кресла и опустив голову, уставшая, взволнованная и чудно прекрасная. Глядя на Остермана и Миниха, она подавляла в себе невольное чувство ненависти и мысленно повторила свою клятву: ни при каких обстоятель-

ствах не подписывать смертного приговора...

Она твердо держала эту клятву во все продолжение своего царствования: ее враги были наказаны, их ожидали допросы и ссылки, но ни одной капли крови не пролилось с ведома русской императрицы...

Всю ночь продолжалось лихорадочное движение во дворце и вокруг него. Со всех сторон прибывали гвардейские полки. Воронцов, Лесток и Шварц отправились в санях с гренадерами к знатнейшим светским и духовным лицам, чтобы известить их о совершившемся событии и пригласить немедленно ехать к Елизавете.

Люди, еще вчера пренебрегавшие опальной и бессильной цесаревною, теперь из всех сил старались выразить свой восторг и уверить, кого следовало, что они все слезы выплакали, дожидаясь счастливого дня воцарения дочери Петра Великого.

К утру поспел манифест, составленный Черкасским, Бреверном и Бестужевым. Елизавета надела андреевскую ленту и вышла на балкон. Громадная толпа сбежавшегося отовсюду народа приветствовала ее появление

восторженными криками.

Она сошла вниз. Верные гренадеры окружили ее и упали ей в ноги.

— Матушка наша! — говорили они, перебывая друг друга. — Ты видела наше усердие и нашу службу... просим у тебя одной награды: объяви себя капитаном нашей роты и дозвошь нам первым присягнуть тебе...

— Хорошо, хорошо... конечно, я согласна, — ответила им с улыбкой Елизавета. — С этой минуты я капитан гренадерской роты!..

И весь день, и всю следующую ночь, несмотря на ветреную и морозную погоду, все улицы были полны народом.

Гвардейские полки стояли шеренгами, то там, то здесь — раскладывались огни, из рук в руки переходила крепительная, согревающая чарка.

Между горожанами и солдатами велись дружеские, веселые разговоры, и все эти многотысячные толпы ежеминутно сливались в одном общем клике: «здравствуй, наша матушка императрица Елизавета Петровна!»

Примечания

1

Добро пожаловать, маркиз (*фр.*)

[^^^]

Маркиз прибудет сюда на следующей неде-
ле, — это конфетка для нас (*фр.*).

[^^^]

3

Вы знаете, арестован матрос Толстой (*фр.*).

[^^^]